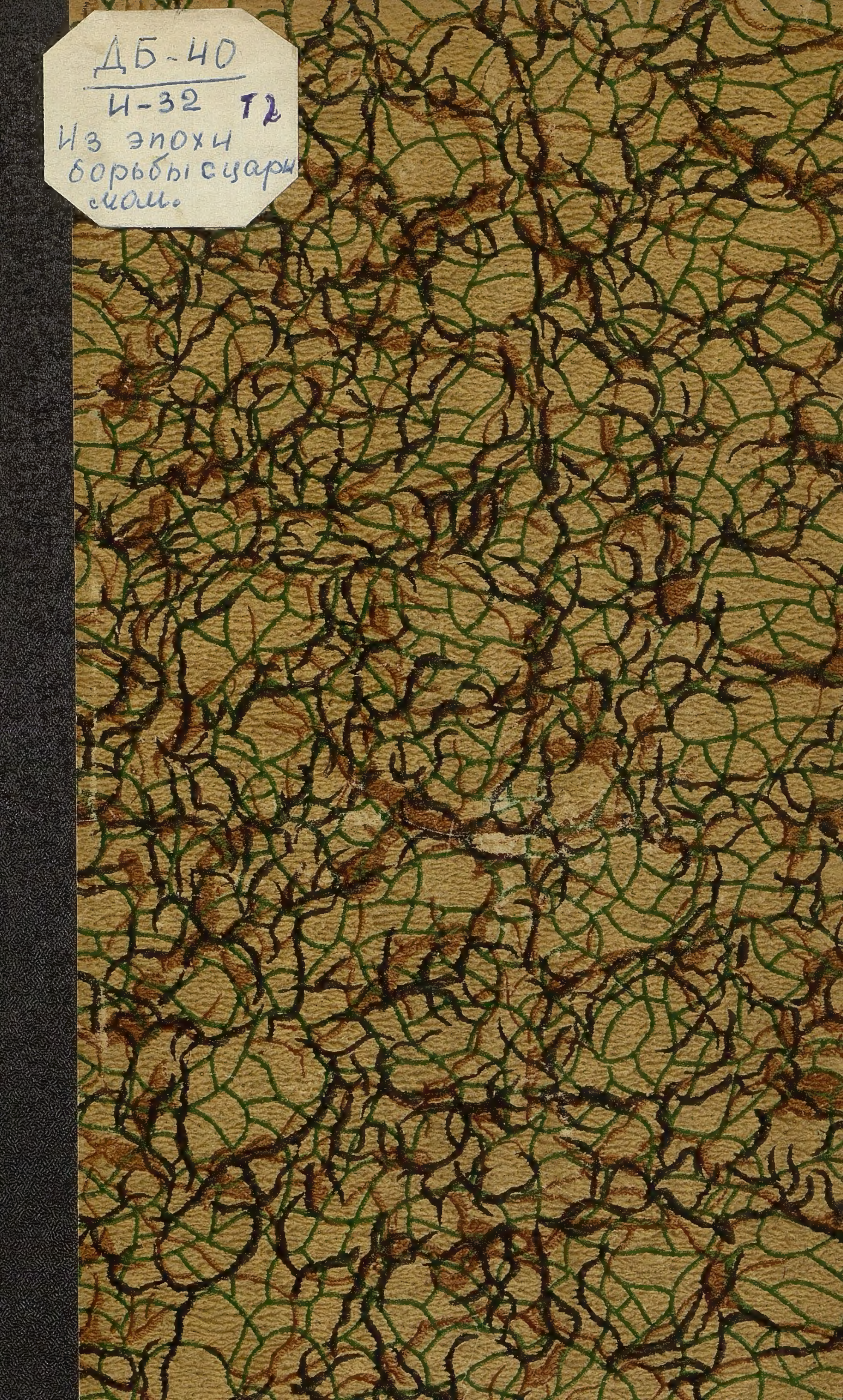
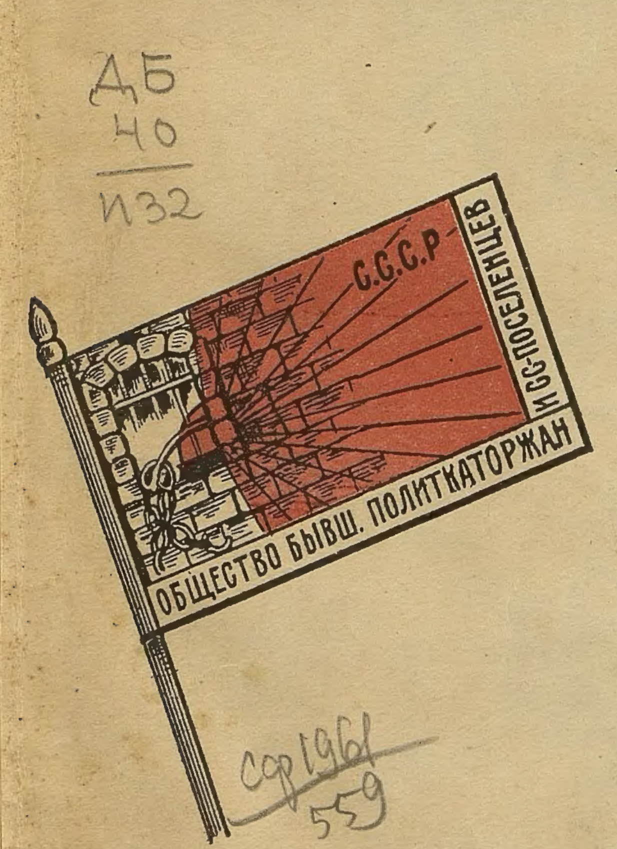
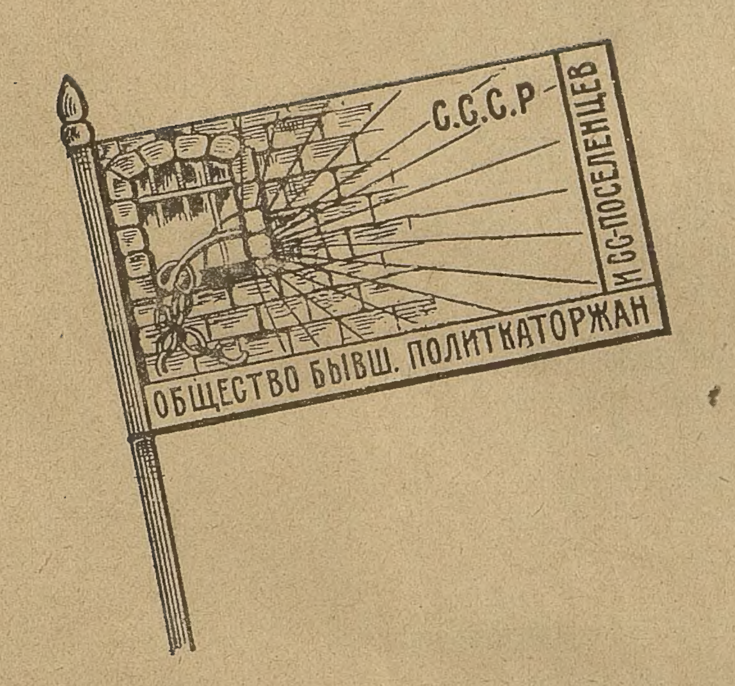

ДБ-40
И-32 т2
Из эпохи
борьбы с царизмом.

ИЗ ЭПОХИ БОРЬБЫ С ЦАРИЗМОМ



ИЗДАНИЕ
КИЕВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА
ПОЛИТКАТОРЖАН И ССЫЛЬНО-
ПОСЕЛЕНЦЕВ.
1924 г.




С.С.С.Р
ОБЩЕСТВО БЫВШ. ПОЛИТКАТОРЖАН
И СС-ПОСЕЛЕНЦЕВ

СОДЕРЖАНИЕ.

стр.

1. **Берман, Л.**—К 35-летию вооруженного сопротивления ссыльных в Якутске 22 марта (4 апреля) 1889 г. . . . 3
2. **Зеликман, М. С.**—Незабываемые страницы прошлого . 16
3. **Берзин, К. П.**—Туккумское восстание 33
4. **Козель, М.**—Революционная работа в войсках . . . 39
5. **З. М.**—Воспоминания о Рижском политическом Красном Кресте 55
6. **Дзвонкевич-Вагнер, Е. Н.**—Биографические сведения о Н. Н. Дзвонкевиче 65
7. **Ушерович, С.**—По пути в Сибирь 71
8. **Торопченов, Н.**—Страничка о подполье Ржевской организации Р С.-Д. Р. П. 85
9. **Кукобин, А.**—Протест в Шлиссельбургской каторжной тюрьме 90
10. **Кофф, Г. М.**—Из тюремной тетрадки 95
11. **Ушерович, С.** — Годовщина Киевского отделения Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев. 99
12. Хроника Киевского отделения Об-ва политкаторжан . . 100
13. Состав Совета и его комиссий 101
14. Список членов Киевск. отдел. 102
15. Анкетные сведения о составе членое Киевск. отделения. 104
16. Об'явления 106

В сборнике помещены фотографические снимки:

1) Группа участников Якутской трагедии в 1889 г.

2) Группа участников „Романовской“ истории в 1904 г.

3) Портрет Юрия Матлахова.

4) „Романовцы“ по пути в Якутский окружной суд.

5) Исполнение смертной казни через повешение.

6) Группа народовольцев и членов Совета Киевского отделения политкаторжан.

7) Снимки Николаевской каторжной тюрьмы.

8) Житомирская группа политкаторжан и ссыльных.

[323.2(47)(09)]

ИЗ ЭПОХИ БОРЬБЫ С ЦАРИЗМОМ.

СБОРНИК РЕДАКТИРОВАЛИ:
Л. БЕРМАН,
Б. ЛАГУНОВ,
С. УШЕРОВИЧ.

2

ИЗДАНИЕ
КИЕВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕСОЮЗНОГО О-ВА
ПОЛИТКАТОРЖАН И ССЫЛЬНО-ПОСЕЛЕНЦЕВ.
1924.

Государств. Трест „Киев-Печать“,
2-я типография Пушкинская, № 4.
РУП. № 2699. Киев—1924. № 998—2200.

К тридцатипятилетию вооруженного сопротивления ссыльных в Якутске 22-го марта (4 апреля) 1889 г.

В начале 90-х годов прошлого столетия тюрьма для политических каторжан на Каре была закрыта Бывшие к тому времени в вольной команде доканчивали свои сроки на Каре, а Якубовч (Мельшин), Фрейфельд и Стояновский, не окончившие своих тюремных сроков, были переведены в новую выстроенную в Акатуе тюрьму, предназначавшуюся для уголовных и политических каторжан. Туда же были переведены в 1892 г. из Вилюйска мужчины-каторжане, осужденные по делу якутского вооруженного сопротивления 22-го марта 1889 г.

Стремление правительства уравнять положение политических и уголовных каторжан осуществилось. Это смешение доставило позднее много мук политическим и унесло много жертв. Но главной своей цели—искоренения революционного духа—правительство все-таки не достигло.

Еще раньше началось совместное отправление в Сибирь политических ссыльных пешим этапным порядком вместе с партиями уголовных. На этапах ежегодно возникал целый ряд протестов с одной стороны, избиений — с другой.

Весной 1888 г. в Бутырках, в Москве, вместе с другими, собранными со всех концов России для отправления в отдаленные и очень даже отдаленные ...та Сибири, содержался Вильгельм Русс, переводившийся в Якутскую ...асть из Архангельской губернии, где он был в административной ссылке. ... рассказывал о тяжелых условиях этапного пути, о случае изнасилования ...итической административно-ссыльной и пр.

Публика не могла остаться безучастной к этому. И вот на одном из об... собраний было решено протестовать против отправления пешим этап... порядком вместе с партиями уголовных арестантов. Каждая партия дол... была протестовать там, откуда для нее начинался этапный путь.

Большинство партии, с которой я вышел из Москвы, должно было из ...мени этапным порядком следовать в Степное генерал-губернаторство. ...ьшинство (Коган-Бернштейны Лев Матвеевич и Наталья Осиповна, Му...ов, Фундаминский и др., всего 12 человек, в том числе Дибобес и Гуре... М., переводившиеся из Сургута в Якутскую область) должно было отпра...ься дальше. В Тюмени обе группы расстались. Неприятно было уезжать ...и накануне готовившихся событий. Но мы должны были подчиниться ре...нию — протестовать в Томске, откуда для нас начиналось этапное ше...ование. В томской тюрьме в очередной этапный день на приказание выйти ...щами в партию мы ответили отказом. Явился полицеймейстер, затем он ...ветник губернского правления, а затем они оба и офицер, начальник ...ской конвойной команды. На угрозу употребить против нас военную силу

ответили, что разберем нары и досками будем обороняться. Конечно, это не испугало. К полному нашему изумлению, нас оставили в покое. Партия ушла без нас, только начато, по распоряжению томского губернатора, судебное дело против нас. Потом нас разделили и дальше отправили группами по шесть человек отдельным конвоем, по одному конвоиру на каждого.

Началось этапное шествие. Для меня этапный путь был тяжел. Быть в дороге несколько месяцев подряд само по себе утомительно; в условиях этапных порядков часто бывало и мучительно. Один вид ползающих по нарам огромных жирных насекомых внушал мне сильнейшее отвращение, а ведь на нарах приходилось есть, сидеть и спать. Прошло несколько дней, и платье и белье было полно насекомых. Менял по возможности белье, чистил платье, но уберечься, конечно, нельзя было. Тараканов и клопов было сравнительно меньше, да они не пускали таких крепких корней в платье. На некоторых этапах,—правда, немногих,—их было так много, что вечером, при свете свечки, их собиралось такое количество, что приходилось смахивать их с книги: двигаясь взад и вперед, они мешали читать.

Не мало беспокойства причиняли мне и сифилитики, уголовные арестанты. На этапном дворе одна бочка с водой и один ковш-черпак. На твоих глазах такой больной пьет из ковша. Я очень боялся этой болезни. Распространяться об этапной грязи в буквальном и переносном смысле не приходится. Неприятно было для меня попадать в семейные партии. Неприкрываемый ничем разврат, наглое поведение солдат, тупая пассивность жертв—тяжелые картины этапной жизни.

Осенью и зимою бывало еще хуже: осенью от дождей, зимою от холода. Особенно памятны мне два случая. Вышли из Читы. Повалил мокрый снег. Я весь промок. Появился сильный озноб. Чтобы согреться, пробовал ходить. Но ходить я не мог: не было сил, темнело в глазах, кружилась голова. Чтобы не упасть, я садился на подводу, на которой я не мог усидеть от холода, от озноба. Я опять слезал. А партия подвигалась чрезвычайно медленно. Ноги проваливались в мокрый снег, под которым была вода. Переход был большой, если не ошибаюсь, в 33 версты. Лишь поздно вечером добрались до ночевки. Тут оказалось, что полуэтап сгорел. Партия, которая и в самых больших этапах не могла уместиться на нарах, и большая часть которой должна была располагаться под нарами и на полу, часто не оставляя свободного прохода, была втиснута в небольшой дом с единственной печью. Перед этой печью образовалось какое-то столпотворение: кто пробивался к ней обогреться, кто с котелком вскипятить чай. С противоположной стороны сильно дуло: в окне не было стекол. Мне хотелось только лечь, и я сейчас же заснул. Утром я встал здоровым, чувствовал лишь большую слабость, усталость.

Зимою во время переходов при сильных морозах бывало очень холодно, но до известной степени можно было спасаться ходьбой. На самих же этапах избавиться от холода было трудно. Дрова, конечно, отпускались, но начальники конвойных команд предпочитали отапливать этапы только в дни прихода партий. Можно представить себе, как намерзали при сибирских морозах не топленные помещения. В этапные же дни, незадолго до прихода партии, затапливалась печь, и, не давая выгореть хорошо, закрывали трубу Входит окоченевшая партия. В лицо ударяет теплый угар. Получается ощущение тепла. Партия довольна, а потом, само собою разумеется, мерзнут.

Шел я из Кадаи на Нижнюю Тунгузку, на поселение. На одном из этапов в Забайкалье ночью в камеру, где я спал, пришел солдат, будит меня, задает нелепые вопросы, дышу-ли я и т. п. Ничего не понимаю. Это старший послал его проведать, не замерз-ли я; ему-де отвечать за это придется. Действительно, было очень холодно: стены этапа не были проконопачены, а был сильный мороз.

Я не собирался описывать этапный путь, не собирался описывать жизнь на этапах вообще и в частности жизнь уголовных, положение которых было ужасно. Я лишь хотел указать, что для меня время этапного пути было тягостным. Лично я предпочел бы сидеть в одиночном заключении, чем ходить по этапам.

В Иркутске мы застряли надолго: ждали установления санного пути.

Начальником сопровождавшей нас конвойной команды, среди которой было два жандарма, был поручик Карамзин. Он ехал на службу в Якутск, ему и поручили сопровождать нашу партию. Всю дорогу он держался вдали от нас и ничем особенным не докучал нам; по крайней мере, никаких инцидентов в этом роде не помню. Во время якутской бойни он командовал солдатами.

Путешествие от Иркутска до Якутска резко отличалось от этапного хождения от Томска до Иркутска. Поражала местами дико-величавая природа по Лене. Сибирская езда на тройках временами доставляла даже несколько сильных ощущений. Сидевшие со мною на повозке жандармы, видно, не были любителями их. Случалось, что они выхватывали шашки и набрасывались на ямщиков с криком: «Ты что? Убить нас хочешь?» Ямщики терялись: едем, мол, исправно, чего же еще желают от них? И недоумевали, почему по крутому спуску с большой горы или по высокому обрывистому берегу реки, где дорогу от самого края отделяла неизвестно для чего положенная толстая жердь, нельзя ехать с таким же гиканьем, как и по ровной дороге.

В конце декабря 1888 года мы прибыли в Якутск. Завезли нас в полицейское управление. После приемки нам заявили, что до отправления в Средне-Колымск каждый может устраиваться, где и как хочет. Прошло несколько дней, и все нашли себе комнаты. Мы очутились «на свободе». Наконец-то можно было, как следует, обмыться, обчиститься и вообще отдохнуть от бесконечного, казалось, этапного пути. Отдохнуть было тем более необходимо, что предстояла дорога в Средне-Колымск.

В 1889 г. мне надлежало отбыть воинскую повинность. Мне хотелось использовать время ссылки, убить, что называется, двух зайцев зараз, и вернуться в Россию в качестве отбывшего воинскую повинность солдата, а не бывшего ссыльного. Для дальнейшей моей деятельности, особенно на первых порах, это могло иметь существенное значение. В начале января 1889 г. я и подал заявление в полицейское управление. Оттуда с моим заявлением меня направили к губернатору, генералу Светлицкому. Когда месяца через полтора я пошел за справокй по этому поводу, меня опять направили лично к губернатору. До получения с моей родины ответа на сделанный запрос и до принятия меня на военную службу мне было разрешено по официальному удостоверению жить в самом Якутске. Вероятно, мне так и не пришлось бы ехать в Средне-Колымск. Из всех живших тогда в Якутске ссыльных я ближе сошелся с живущим ныне в Москве М. В. Брамсоном и А. Л. Гаусманом, которые жили семейно в одном и том же доме.

В высшей степени замкнутого, сдержанного Альберта Львовича Гаусмана выдавали, так сказать, глаза. И без того блестящие, в острые моменты волнения или оживления они блестели еще больше. Грустное, какое-то тревожащее выражение их глубоко проникало в душу и показывало, что внутренние его переживания вовсе не соответствовали его внешнему спокойствию. Чем он был неудовлетворен? Чего искал? Много читавший, почти окончивший два факультета (естественный и юридический), владевший немецким и французским языками, как русским, в интеллектуальном отношении он был незаурядным человеком. Знания его были обширны и разнообразны. Его корректность не была искусственной, деланной; она вытекала из его уважения к личности другого, из уважения и бережного отношения к мнению другого,

которое он выслушивал с большим вниманием. Ссылался в Средне-Колымск на 8 лет. Интересна была четырехлетняя девочка Альберта Львовича. Она поражала своим не по возрасту развитием. Особенно любопытно было наблюдать за нею, когда она случайно на короткое время оставалась дома без родителей и в это время приходил кто-нибудь. С видом настоящей grande-dame она принимала и занимала гостя. Во время последней эпидемии сыпного тифа она работала в качестве врача на юге России. Заразилась сыпняком, и погибла.

Был я несколько раз у А. Пика. Жена его, Софья Гуревич, своей искренностью, простотой и скромностью производила впечатление задушевного человека. А. Пик был стойкий революционер, прямолинейный, неспособный итти на компромиссы. Такая прямолинейность, стремление осуществлять раз принятое свое решение, неспосбность его согласовать с желаниями других, в тюрьмах и ссылке всегда вызывали тяжелые последствия.

В конце февраля или начале марта 1889 года уехал из Якутска губернатор, генерал Светлицкий. Высшая власть нашла. что он слаб, что он «распустил» ссыльных. Слишком короткое время я пробыл в Якутске, и потому у меня нет сведений, как он губернаторствовал. Могу только сказать, что в оба мои посещения по делу о воинской повинности он меня принял очень корректно, беседовал просто, добродушно. По отзывам товарищей-старожилов, он был человек порядочный и, во всяком случае, от себя он не прибавлял новых скорпионов к тем, которые посылались высшей властью. В ея глазах, очевидно, это был тяжелый грех. «Подтянуть» ссыльных был прислан в качестве вице-губернатора чиновник особых поручений при иркутском генерал-губернаторе Осташкин. Новое веяние началось с первых же дней по его приезде: стали высылать из Якутска в улусы ссыльных, дожидавшихся отправления в Средне-Колымск, сделали обыск в квартире Ноткина, где было устроено нечто в роде библиотеки-клуба, хотели конфисковать книги. Наконец, Осташкин издает новое распоряжение о порядке отправления в Средне-Колымск.

На всем пути от Якутска до Средне-Колымска, около 3.000 верст, имеется всего лишь один населенный пункт—Верхоянск. На всем же остальном протяжении дорога идет по совершенно безлюдной местности. Одинокие якутские юрты разбросаны на расстоянии 250—400 верст одна от другой. Это местные почтовые станции. Между ними кое-где разбросаны так называемые поварни, деревянные срубы с нарами для ночлега. Дорога продолжалась от двух до четырех месяцев, смотря по времени года, по состоянию дороги.

Отправляли по два человека каждые две недели, чтобы лошадям или оленям, сделавшим пробег в оба конца 500—800 верст. могли дать некоторый отых, прежде чем везти следующих двух.

Клади позволялось брать до 10 пудов на человека. Сухарей, мяса и пр. нужно было заготовить на несколько месяцев и не только для себя, но и для своего казака-конвоира, которому администрация на дорогу фактически ничего не давала, и которого приходилось поневоле кормить, так что одних этих продуктов набиралось несколько пудов, а ведь у каждого были еще какие-нибудь вещи, книги. Ссыльным выдавались вперед кормовые деньги за все время пути, колымское пособие за 3—4 месяца. При этом до отправления ссыльные находились на свободе и могли по возможности подготовиться к такому продолжительному и тяжелому пути. Вновь же назначенный и. д. губернатора установил следующий порядок: отправлять каждую неделю по четыре человека, клади разрешать не больше пяти пудов на человека, высылать из города в улусы до очереди отправления и перед самым отправлением арестовывать. Выдача авансов отменялась. Ясно, что нельзя было, особенно на больших перегонах, успеть перевозить каждую неделю новую партию. На

местах смены лошадей или оленей должны были образовываться скопления ссыльных, дожидающихся очереди отправиться дальше. Продолжительность дороги должна была сильно увеличиться. Количество клади до 5 пудов, само по себе незначительное для такой дороги, да еще для людей, едущих в Колымск на целые годы, становилось при таких обстоятельствах явно недостаточным. Высылка в улусы и заключение в тюрьму перед отправлением их не давали возможности или, во всяком случае, затрудняли бы заготовить нужные для дороги продукты или вещи, хотя бы и во вновь установленном количестве.

Ссыльные почувствовали и поняли явно провокационный характер этих новых правил. Подчиниться новым правилам—значит подвергнуть тяжким испытаниям и жизнь и здоровье, особенно людей слабых и детей. Помимо этого, как революционеры, они считали для себя невозможным безропотно подчиниться явному издевательству над собой правительства. Наконец, подчинение собравшихся тогда в Якутске ссыльных установило бы прецедент и сделало бы положение последующих партий более тяжелым. Все чувствовали и понимали, что они не могут не реагировать на этот вызов правительства. Но как реагировать? В какой форме? Начался ряд собраний. Одни предлагали покушение на Осташкина, другие—массовый побег, третьи—пассивное сопротивление: пусть, мол, выносят в сани и везут, как знают; четвертые—вооруженное сопротивление. Устройство массового побега представлялось мне лучшей формой протеста. Из Якутска в Иркутск имеется одна лишь дорога по Лене, и побег оттуда поэтому довольно труден. В данном случае, казалось мне, вовсе не требовалось, чтобы побег всех принявших в нем участие был удачен. Важно было, чтобы хоть двое—трое добрались до Иркутска, чтобы им удалось устроить покушение на иркутского генерал-губернатора. Да и неудавшийся побег всех остальных бежавших тоже имел бы некоторое значение протеста. Я был против вооруженного сопротивления. В открытом бою мы сами должны были понести огромные жертвы, не нанося никакого ущерба своему врагу. И какой смысл, какое значение могло бы иметь убийство нескольких солдат, если бы это случилось? Между тем, такое количество людей, готовых пожертвовать жизнью, при иных формах активного выступления может сделать много. Среди горячих противников вооруженного сопротивления был и Альберт Львович Гаусман. Самую резкую и непримиримую позицию занял один из товарищей, заявивший, что он, во всяком случае, окажет вооруженное сопротивление. Возможно, что такое заявление могло произвести кое-какое давление на некоторых товарищей. Последнее собрание. На нем присутствует в качестве эксперта, хорошо знающего местные условия, один из ссыльных, незадолго перед тем вернувшийся из Верхоянска. В мрачных, даже в очень мрачных красках рисовал он дорогу из Якутска в Средне-Колымск. Мне лично казалось, что он черезчур сгущает краски, что он увлекается собственным красноречием и своей ролью эксперта, и потому находил такое выступление легкомысленным. На многих товарищей его речь произвела тяжелое впечатление. Его речь я в мыслях всегда сопоставляю с речами Льва Матвеевича Коган-Бернштейна, который горячо стоял за вооруженное сопротивление. В речах Льва Матвеевича чувствовалась искренность, убежденность революционера, что при создавшемся положении дела вооруженное сопротивление—единственный достойный революционеров ответ на наглый вызов правительства. Наконец, прения окончены. Одна за другою отвергаются большинством голосов разные формы протеста. Голосуется вопрос о вооруженном сопротивлении. «За», если не ошибаюсь, подано 18 голосов. «Против»—12 голосов. Alia jacta est.

Однако, по предложению Гаусмана, решили испытать еще раз мирное средство. На одном из первых собраний М. Р. Гоц был выбран делегатом для

переговоров с Осташкиным об отмене изданных им новых распоряжений. Но при стремлении Осташкина «подтянуть» ссыльных миссия Гоца успеха не имела. Теперь решили подать Осташкину заявление, изложить обстоятельства дела, обрисовать дорогу, сделать расчет необходимейшей клади и просить об отмене новых правил и о возвращении к прежнему порядку отправления в Средне-Колымск. Чтобы облегчить администрации возможность отмены своего распоряжения, чтобы не затрагивать «престижа власти», заявление было написано в корректной форме. Коллективных заявлений, по закону, нельзя подавать. Чтобы не дать повода не принять на этом основании нашего заявления, все переписали выработанный Гаусманом и другими текст и каждый должен был подать его за своей подписью.

21 марта 1889 г. к условленному часу все собрались в областном управлении. Советник управления отказался принять от нас заявление и послал за полицеймейстером Сухачевым. Тот немедленно явился, принял от нас заявления для передачи и. д. губернатора Осташкину и за получением ответа он предолжил собратъся на другой день не в областное управление, не в полицейское управление, а в частную квартиру Ноткина. В этой квартире ссыльные одно время хотели, как я уже сказал, устроить библиотеку-клуб, но после произведенного обыска и намерения конфисковать книги, пришлось разобрать книги по рукам. Опасаясь арестов по квартирам, решили не расходиться и провести ночь всем вместе.

Вечером стали носиться слухи, что в городе что-то затевается, идут какие-то приготовления, раздаются местной команде боевые патроны. Во втором часу ночи О. С. Минор и я пошли на разведки. Нигде ничего подозрительного, нигде никакого движения. На улицах полное безлюдье, полная тишь.

22-го марта, около 10 часов утра, явился полицейский чин (Олесов) и передал требование полицеймейстера отправиться немедленно в полицейское управление. Ему ответили, что сам полицеймейстер назначил место, куда он обещался привезти ответ к 1 часу дня, и следовать в полицейское управление отказались. Чин быстро исчез. Минут через 15 дежуривший товарищ сообщил, что скорым шагом идут солдаты. Человек 15 во главе с поручиком Карамзиным вошли в комнату, другие оставались на дворе. Карамзин об'явил, что мы арестованы, и что ему поручено отвести нас не то в полицейское управление, не то в тюрьму. Начались пререкания. Переговоры с нашей стороны вел, главным образом, Лев Матвеевич Коган-Бернштейн. Публика заколебалась. Соглашались итти, но не под конвоем. Карамзин не уступал. Минор, желая показать, что мы не беззащитны, поднял высоко над головой свой револьвер и потряс им. Вошедший полицейместер распорядился прекратить разговоры. Карамзин велел «взять». Солдаты бросились со штыками. Кто первый выстрелил, не знаю. Солдаты отскочили, дали залп и выбежали на двор. Величайшей растерянностью солдат можно об'яснить, что они, стреляя из ружей в упор в густую толпу, не перебили, по крайней мере, половины людей. Из солдат никто не пострадал. Только Карамзин был ранен в ногу Николаем Львовичем Зотовым. Этот мужественный человек в опасности не растерялся. В страшной обстановке он знал, что ему делать; с ясным умом ориентировался в то самое время, когда обстрел дома производился с трех сторон. Через несколько минут наступило затишье. Побрел я в другой конец дома посмотреть, что там делается. Дом имел два выхода на двор, при чем из-за выступа дома из одного выхода нельзя было видеть другого. Задняя дверь была настежь раскрыта. Не успел я выглянуть из дверей на двор, началась сильнейшая стрельба. Несколько пуль прожужжало мимо самой моей головы. Раздались крики: «сдаемся!» Был-ли я контужен или после двух бессонных ночей просто не выдержали нервы, только я потерял сознание. Обмо-

рок мой, очевидно, был довольно продолжительный и глубокий. Н. О. Коган-Бернштейн говорила мне потом, что она меня осматривала и решила, что я мертв. Как я пришел в себя, не помню. Тут выяснилась для меня причина вторичной стрельбы. Во время наступившего затишья товарищи, бывшие в задней части дома, считали дело конченным, и стали выходить на двор. В это время приехал на место происшествия Осташкин. Зотов бросил свой ревельвер, казавшийся ему скверным, взял револьвер кого-то другого, вышел на двор из передней двери и два раза на виду солдат выстрелил в Осташкина. Оба выстрела не причинили ему вреда. Так, одна пуля, пробив шубу, ударилась в пуговицу виц-мундира, оставив только легкую царапину на животе. В ответ на эти выстрелы и началась пальба. Передавали, что, на основании подсчета выданных солдатам патронов, было сделано всего 760 выстрелов.

Первым из нашей среды был убит Аркадий Пик. Софья Гуревич с распоротым штыками животом долго мучилась. Ноткин, раненый во время первой стрельбы, при вторичной был убит. Убиты Шур, Муханов и Подбельский, всего убито 6 человек. Муханов только в этот день приехал в город из улуса. Пошел на квартиру Ноткина и на дворе был убит. Подбельский был выслан в Якутскую область вместе с Л. М. Коган-Бернштейном за «Сабуровскую» историю 1881 года. Коган-Бернштейн, попав на военную службу, срока своей ссылки не кончил; как бывший солдат, он вернулся в Россию и теперь вторично ссылался. Подбельский отбыл свой срок и жил в Якутске. Услыхав выстрелы, он прибежал на место происшествия, и на дворе был убит.

Тяжело были ранены семь человек: Николай Зотов, Лев Коган-Бернштейн, Матвей Фундаминский, Михаил Гоц, Осип Минор, Михаил Орлов и Осип Эстрович. Особенно серьезны были штыковые раны Коган-Бернштейна и Фундаминского. Рана Гоца, хотя и была вылечена, впоследствии послужила основной причиной его смерти. Раненые были отвезены в больницу. Остальные отведены в тюрьму: Берман Леонид, Болотина Анисья, Брагинский Марк, Брамсон Моисей, Гаусман Альберт, Гоц Вера (Гассох, жена Михаила Гоца). Гейман Борис, Гуревич Александр, Гуревич Евгения (сестра Софьи Гуревич), Зороастрова Анна, Канчер Сергей, Коган-Бернштейн Наталья (жена Льва Коган-Бернштейна), Перли Полина (жена Марка Брагинского), Ратин Самуил, Терешкович Константин, Уфлянд Михаил, Эстрович Михаил, Франк Роза и Шехтер Анастасия (жена Осипа Минора). Были также арестованы прибежавшие на квартиру Ноткина жены Брамсона и Гаусмана и двое ссыльных; фамилий их не помню. Был арестован в городе и приведен к нам в тюрьму Исаак Магат. Его не было в числе лиц, принимавших участие в сопротивлении. Арестовали его за подачу заявления.

Огромнейшее большинство участников протеста—евреи. Дело в том, что, за малыми исключениями, в Средне-Колымск в ту эпоху ссылались, главным образом, евреи.

С конца 70-х годов прошлого столетия русское правительство все свои невзгоды стало вымещать на евреях. Неурядицу русской жизни оно начало систематически сваливать на евреев. Устраиваемыми погромами еще более разрушая и без того расшатанные устои русской жизни, русское правительство стремилось внести в жизнь как можно больший сумбур, как можно больше затемнить сознание широких народных масс. Во второй половине 80-х годов оно стало ссылать евреев, замешанных в революционном движении, в Средне-Колымск. Оно хотело показать, что главный контингент ссыльных—евреи, что «русское» общество принимает незначительное участие в революционном движении, да и то под влиянием врагов русского народа—евреев, и думало тем дискредитировать само движение. Правда, своей политикой по отношению к евреям оно достигло широкого и глубокого внедрения антисемитизма в сознание русского населения, но себя этим не спасло,

как не спасло его сплошное выселение евреев во время последней европейской войны из мест, охваченных военными действиями.

Настроение мое в первые дни было ужасное. Трудно было разобраться в происшедшем, трудно было с ним примириться. Как могло случиться, что мы не забаррикадировались и впустили солдат в комнату? Чем об'яснить, что среди нас не нашлось ни одного, кто мог бы стать организатором сопротивления, его руководителем?

Одно само по себе незначительное обстоятельство имело для тогдашнего моего настроения большое значение. Оно заставляло меня работать. Я должен был заботиться о других, и потому не мог особенно копаться и разбираться в своих переживаниях. Я был выбран старостою. Из арестантского котла нам ничего не отпускали, а выдавались кормовые деньги. Приходилось самим закупать хлеб, говядину и проч., заказывать и наблюдать за приготовлением обеда, раздавать табак, почтовые марки и т. д. Возни было довольно порядочно, особенно на первых порах, когда хозяйство наше еще только налаживалось. Получаемые кем-либо деньги поступали, конечно, в общую кассу.

Началось следствие, которое было поручено следователю по особо важным делам Меликову. Во время всего следствия он держал себя очень корректно и никому не мешал охарактеризовывать в показаниях поведение местной администрации и выяснять причины и мотивы действий ссыльных. Тяжелы и мучительны были очные ставки со свидетелями. Нас всех выстраивали на тюремном дворе, а какой-нибудь солдат или полицейский сыщик должен был указать, кто стрелял. Опаснее всех было положение Николая Львовича Зотова. Он на виду у всех стрелял в и. д. губернатора. Его заметил и офицер Карамзин, когда он в него выстрелил. Во время этих очных ставок стало опасным положение Льва Матвеевича Коган-Бернштейна, против которого дал показания унтер-офицер, и Альберта Львовича Гаусмана, против которого дал показания полицейский сыщик. Оба показания совершенно ложны. Коган-Бернштейн в самом начале бойни получил две тяжелых штыковых раны, и не мог стрелять. Не стрелял и Гаусман. Он, ратовавший против вооруженного сопротивления, хотел до конца остаться последовательным; отправляясь на квартиру Ноткина, оставил дома свой револьвер. А ведь на основании этих ложных показаний Гаусман и Коган-Бернштейн казнены. На последней очной ставке один из свидетелей-солдат, растерянно, беспомощно постояв некоторое время, решил, должно быть, что его ведь не зря привели, стал нерешительно, медленно поднимать руку против меня. Следователь, считавший, вероятно, что жертв уже достаточно, заговорил про присягу. Солдат быстро опустил руку. Следователь довольно долго старался втолковать ему, что он должен помнить присягу, что он не имеет права показывать на кого-нибудь, если он не помнит хорошо и т. д. После этого солдат руки не поднял и ответил отрицательно на вопрос следователя, может-ли он указать, кто стрелял.

В начале июня 1889 года из Иркутска приехала военно-судная комиссия. Члены суда, прежде всего, стали знакомиться, достаточно-ли строго мы содержимся в тюрьме, достаточен-ли караул, есть-ли возможность нам бежать. Такое поведение судей, совмещеие звания судей и тюремщков ничего хорошего не сулило нам. Весьма жалею, что за большою давностью времени я не могу подробно рассказать о нашем суде. По моему, наш процесс до того отличается от других, что о нем следовало бы написать подробно. Это какая-то архаическая форма военного суда чуть-ли не со времени Екатерины и сохранилась только в Сибири. Презусом (председателем) суда был подполковник Савицкий, начальник дисциплинарного батальона в Иркутске; аудитором (делопроизводителем, прокурором) — Федоров, чиновник особых поручений при иркутском генерал-губернаторе; остальные три члена—офицеры. Руководящую роль играл Федоров.

Обычной судебной процедуры, соблюдавшейся для видимости даже в военно-полевых судах, на нашем процессе не было. Защитников даже казенных у нас не было. Сами мы тоже не могли не только произносить речи, но и давать какие-нибудь об'яснения. На первое заседание суда, заседавшего в городской больнице, против тюрьмы, нас привели всех. Об'явили нам о предании нас суду по 279 ст. военного устава за восстание против властей. При этом Федоров предупредил нас, что суд не позволит нам давать показания против администрации. Также не позволят нам произносить защитительные речи, так как это излишняя формальность.

Гаусман сделал заявление, что, на основании такой-то статьи, женщины не подлежат военному суду. Суд выслушал и ничего не ответил. Гаусман заявил еще, что Берман и Терешкович, как несовершеннолетние, тоже не подлежат военному суду. Гаусман, которому грозила серьезнейшая кара, заботился не о своей защите, а о защите других. Тут со стороны презуса последовала резолюция: «Их не переслушаешь. Увести их!» Однако, было сделано распоряжение для освидетельствования меня и Терешковича вызвать врачебного инспектора Смирнова.

Из всех привлекавшихся к делу четверо не достигли совершеннолетия: Евгения Гуревич, Михаил Эстрович, Константин Терешкович и я. Первые двое на следствии так и показали. Мне не хватало до 21 года лишь нескольких месяцев. Отправившись на квартиру Ноткина, я не обольщал себя надеждой на благополучный исход и был готов на всякие случайности, возможные при вооруженном сопротивлении. Естественно, показывая на следствии свой возраст, я не хотел воспользоваться недостающими несколькими месяцами, как средством смягчить свою участь, и показал, что мне 21 год. Со статейным списком следователь, очевидно, не сверял показания, оно так и осталось.

Поэтому заявление Гаусмана, что я и Терешкович неверно показали свой возраст, меня очень поразило. Как он узнал? Вместе с тем, я недоумевал, что тут может сделать медицина? Явился врачебный инспектор. Ему об'яснили, для чего его вызвали. Доктор, ничтоже сумняшеся, направился ко мне. «Откройте рот». Я открыл, совершенно не понимая, для чего это нужно ему? «Да, 21 года нет». Освидетельствование этим закончилось.

Заседаний суда было несколько. На каждое приводили по несколько человек. Кроме вопросов, удостоверяющих личность, задавали, кажется, только один вопрос: «Признаете-ли вы себя виновным в вооруженном восстании против властей?» Точно, впрочем, не помню. Отвечать нужно было: «Да» или «Нет». Вот и все. Никаких об'яснений не допускалось. На четвертое или пятое заседание опять привели всех нас. Прочли «выписку из дела», заменявшую обвинительный акт. Оказалось много всяких искажений. Копии на руки не дали. На предоставление возражений дали около 3 часов.

13 июня нам об'явили приговор:

Трое: Зотов, Гаусман и Коган-Бернштейн Лев приговорены к смертной казни через повешение; 23 человека—к каторжным работам. Из них: Минор, Гоц, Гуревич Александр, Орлов, Брагинский, Брамсон, Фундаминский, Уфлянд, Ратин, Эстрович Осип, Гоц Вера, Перли Полина, Коган-Бернштейн Наталья и Болотина — к бессрочным каторжным работам; Капгер, Зороастрова, Гейман, Франк Роза и Шехтер Анастасия—к 15 годам каторжных работ; Берман, Терешкович, Эстрович Михаил и Гуревич Евгения—к 10 годам каторжных работ. Исаак Магат—к ссылке на поселение.

Кассационные жалобы суд отказался принять от нас. Это показалось необычайным даже для русского чиновника. Якутский областной прокурор запротестовал и дал нам возможность на наш счет отправить в Иркутск нарочного с нашими кассационными жалобами.

Было бы странно ожидать, что правительство Александра III захочет при помощи суда разобраться в якутском деле и найти истинных виновников его. Весь ход процесса показывал, что оно даже не считает нужным в Якутске, вдали от «Европы», сохранить внешний декорум суда. Оно хотело примерно наказать осмелившихся восстать против него. Оно хотело показать остальным, как оно будет расправляться при устройстве ими протестов, и этот приговор «суда» никого не должен был бы поразить своею жестокостью. Одного лишь я не допускал—возможности казнить больного Коган-Бернштейна, на веки изуродованного штыковыми ранами в паховую область. на веки прикованного к кровати. На суд приносили его в кровати. Неужели и к виселице понесут его в кровати? Неужели с кровати его будут тащить на виселицу? Оказалось, в условиях русской действительности все было возможно.

После суда Зотова, Гаусмана и Коган-Бернштейна посадили в одиночки. От нас они не были строго изолированы. Через дверное окошко мы могли с ними беседовать. Смотритель тюрьмы, Николаев, товарищ Коган-Бернштейна по военной службе, был человеком мягким, сердечным. Взаимные наши отношения в условиях тюремной жизни лучшими не могли быть.

5 августа кончилось томительное ожидание конфирмации приговора. Нам еще не об'явили его. Но трех приговоренных к смерти перевели из тюрьмы в находившуюся рядом военную кордегардию. И без об'явления все стало ясным.

В ночь с 6 на 7 августа слышался стук топоров: то строились виселицы.

На рассвете 7 августа 1889 года Альберт Львович Гаусман, Николай Львович Зотов и Лев Матвеевич Коган-Бернштейн были казнены. Перед казнью они сердечно простились друг с другом, и мужественно умерли, умерли с верой в торжество истины, торжество освобождения народа от оков самодержавия.

Смотритель Николаев, явившийся к нам с места казни поведать о последних минутах жизни погибших, после сильной истерики упал в обморок.

Для остальных конфирмированный приговор был таков: Минор, Гоц, Гуревич Александр и Орлов—к бессрочной каторге. Брагинский, Брамсон, Фундаминский, Уфлянд, Ратин и Осип Эстрович—приговорены к 20 годам каторги каждый; Коган-Бернштейн Наталья, Перли, Гоц Вера и Болотина получили по 15 лет каторги; Терешкович—10 лет каторги; Берман и Эстрович Михаил—по 8 лет каторги; Гуревич Евгения—6 лет каторги. Франк Роза и Шехтер Анастасия—по 4 года каторги. Исаак Магат—на поселение. Зороастрова и Кангер—к ссылке на житье. Гейман—к трем годам тюремного заключения.

Л. Берман.

Посмертные письма Зотова, Гаусмана и Коган-Бернштейна обнародованы в печати. Но большинству нынешних читателей, вероятно, они не известны, и потому позволяю себе привести здесь письма хоть одного Льва Матвеевича Коган-Бернштейна. Хочу лишь добавить, что сын его Матвей Львович, которому он написал такое трогательное письмо, член Учредительного Собрания, перешел через фронты на сторону Советской России, но по недоразумению застрелен красноармейцами.

Письмо Л. М. Коган-Бернштейна к товарищам.

6-го августа 89 г.

Дорогие мои, хорошие друзья, товарищи! Не знаю, удастся-ли мне проститься с вами—надежды почти нет, но я мысленно простился со всеми вами и глубоко, глубоко перечувствовал за это время ваше теплое, хорошее от-

ношение ко мне. Простимся лучше заочно, дорогие друзья и товарищи, и пусть последнее наше прощание будет озарено надеждой на лучшее будущее нашей бедной, бедной, горячо любимой родины! Никогда ни одна капля силы не пропадает в мире, не пропадает, стало быть и жизнь человеческая задаром! Никогда не надо горевать об ней. Оставьте мертвых мертвецам—у вас впереди живая связь, нравственная, горячая и самая возвышенная связь с вашей исстрадавшейся родиной. Не говорите и не думайте, что ваша жизнь пропала, что она вся пройдет в напрасных страданиях и мучениях, на каторге и в ссылке. Страдать муками родины, быть живым укором всем исчадиям мрака и зла—это великое дело!

Пусть это будет вашей последней службой—не беда. Вы принесли свою лепту на алтарь борьбы за Народную Волю! А кто знает, быть может, вам удастся увидеть и лучшие дни. Быть может, вы доживете до этой счастливой минуты, когда освобожденная родина встретит своих верных, любящих и любимых детей с открытыми об'ятиями и вместе с ними отпразднует великий праздник Свободы! Тогда, друзья, помяните вы и нас добрым словом, и это будет для нас величайшей наградой за все наши испытания. Да не покинет вас никогда эта великая надежда так же, как не покинет она меня и на самом эшафоте! Целую вас крепко, горячо, от всей моей любящей души.

Ваш весь *Лев Коган-Бернштейн.*

Еще раз прощайте, дорогие друзья! Крепко целую вас.

Письмо его же к...

Дорогие мои, хорошие друзья! Вы уже, верно, читали приговор по нашему делу. Вчера пришла и конфирмация. Все 3 смертные казни утверждены, но когда будут исполнены, еще неизвестно. Для нас всех такой именно исход дела явился несколько неожиданным, так как все скорее ждали малых смягчений всем остальным, чем утверждения смертных казней. Относительно бедного Гаусмана это особенно возмутительно; ведь против него показывал один только *явный* лжесвидетель, который всем, не исключая даже начальства, казался очень подозрительным суб'ектом. Но в Азии и этого довольно!

Что же сказать вам о себе? Для меня такая смерть является самой счастливой, самой желательной. Мне всегда казалось страшно тяжелым оставаться в живых после многих жертв нашей борьбы, которые я пережил. Особенно последняя история, в которой пало шесть человек, и в их числе два лучших моих друга, Петро (Муханов) и Подбельский, подействовала на меня подавляющим образом. Правда, и я стоял там лицом к лицу со смертью довольно долго и выздоравливал даже под угрозой смертной казни, висевшей надо мною около двух месяцев, и совесть моя могла быть спокойна Но я знаю, что там, на каторге, среди безделья и тоски, предо мной не раз тяжелым укором вставала бы участь шестерых товарищей, павших рядом со мною. Теперь я умру на том месте, где пристойно в наше время умирать честному человеку. Я умру с чистой совестью и сознанием, что до конца оставался верен своему долгу и своим убеждениям, а может-ли быть лучшая, более счастливая смерть? Я умру там, где умирали с славой и честью мои лучшие друзья и учители, память о которых я почитаю больше всего на свете, и это есть для меня лучшее нравственное удовлетворение, какого только я мог желать себе. Не сокрушайтесь же обо мне, а скажите: он прав, он счастливо умер, он не мог желать себе лучшей участи! Я забыл сказать вам, что я до сих пор не вставал еще с постели, а потому не удивляйтесь, что я так пишу,—я пишу все еще лежа. Не знаю, каким образом, они «поведут» меня на казнь. На суд и повсюду вообще меня носили с кроватью, а как теперь поступят, право, не

знаю. Единственное мое желание, чтобы они не затягивали надолго всей этой процедуры, а то уж больно тяжело быть оплакиваемым при жизни! Ну, да такие вопросы у нас легко улаживаются. Не все-ли равно, стоя или лежа лезть в петлю? Крепко, крепко обнимаю вас и целую. Не поминайте лихом вашего верного друга и примите его последнее прости и прощай.

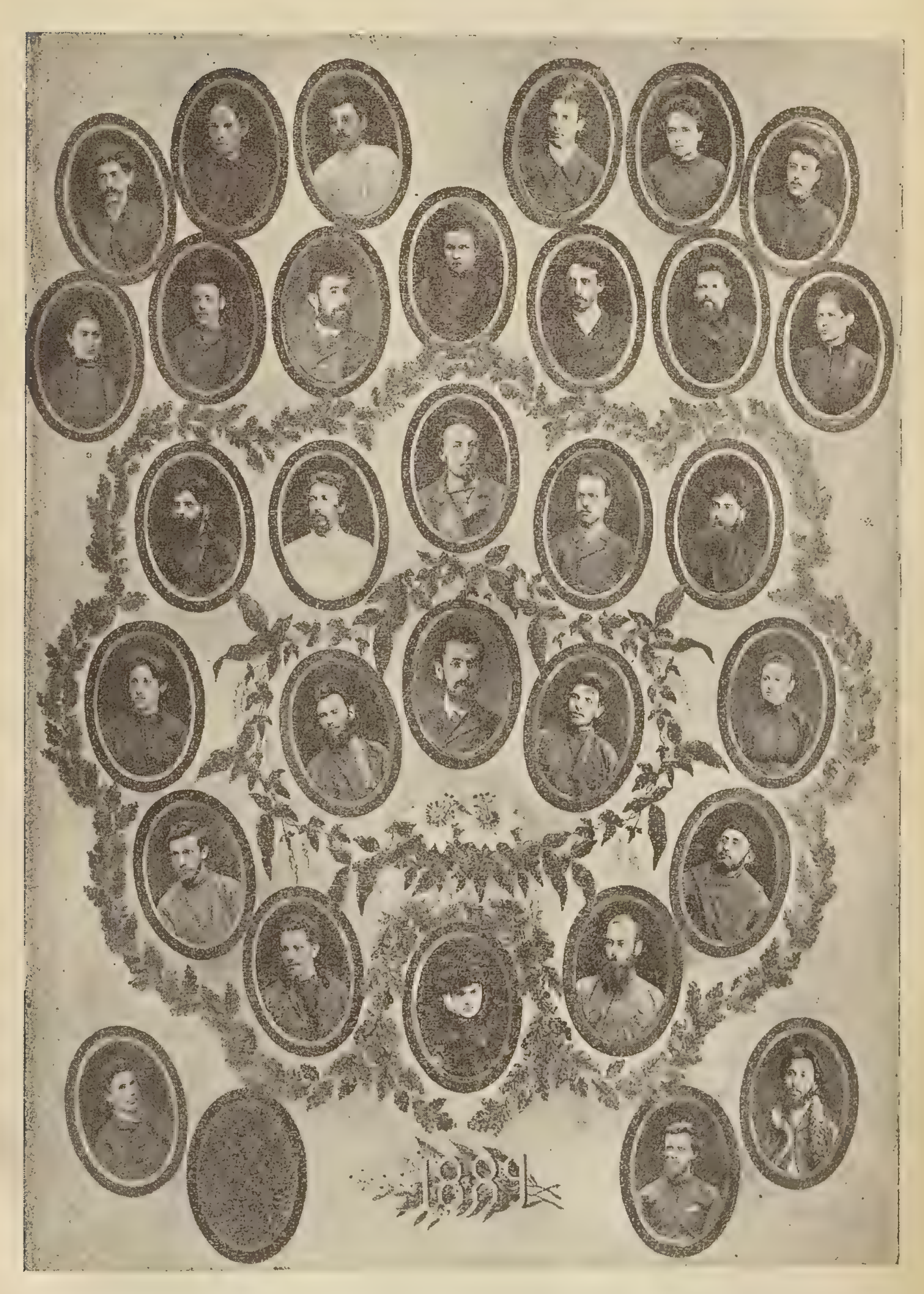
Лев Коган-Бернштейн.

Письмо его же к сыну.

Дорогой мой, родной, голубенький сынишка, мой милый, несчастный Митюшка. Я уже исполнил свой последний долг и последние мои мысли, последние мои слова да принадлежат тебе! Я виноват перед тобой, родной мой; я дал тебе жизнь, а сам покинул тебя в ранних младенческих летах, оставив тебя на руках у бедной исстрадавшейся матери. Сколько горя, сколько мук предстоит ей еще впереди, пока еще увидит тебя большим, и пока ты сумеешь понять и вознаградить ее за все потери ее, за все страдания, которые она перенесла в своей тяжелой жизни. Я покинул тебя и ее, и тебя препоручил ей, а ее тебе. Живите друг для друга, любите друг друга, цените и утешайте друг друга! Простишь ли ты меня когда-нибудь так чистосердечно, так хорошо, как простила меня твоя хорошая мама? Она расскажет тебе всю мою жизнь, и, быть может, ты поймешь меня, быть может, полюбишь память мою и возблагодаришь меня за мои, во всяком случае, честные дела. О, господи! дай мне это благо! Дай мне эту последнюю надежду! Я не знаю, когда тебе придется читать эти мои последние строки? Быть может, наша многострадальная родина вздохнет свободнее, и оживет под лучами солнца свободы и правды! Быть может, ты, мой родной, дорогой, безценный, будешь жить совсем иною, более счастливой, жизнью—о дай тебе бог!—а о наших временах будешь знать лишь по преданию! Нам же пришлось жить в тяжелые, мрачные времена, когда страшный ураган беспощадной борьбы из году в год уносил с любимой родины безвозвратные жертвы. Одной из таких жертв был и я, твой виновный перед тобой отец, занесенный в далекую Якутскую глушь и нашедший там свою судьбу. Простишь ли ты меня, родной, простишь ли, дорогой? О да! да! Я верю в это так же, как и в то, что ты будешь хороший, честный, любящий человек. Чистосердечно говорю тебе, что несмотря на многие испытания, перенесенные мною, я всегда себя чувствовал счастливым, так как счастья искал не в мишуре богатства и тщеславия. Я мечтал изложить тебе подробно свою жизнь в своей отцовской исповеди, но увы! смерть пришла слишком рано и не дала исполнить этого долга. Твоя хорошая, дорогая мама расскажет тебе мою жизнь, и ты увидишь, ты поймешь, что я был прав, что дурные помыслы и дурные желания были мне чужды—ты узнаешь, как трудно мне было вступить на тот путь борьбы, к которой нас призывает долг наш. Душа просила мягких слов, любви всечеловеческой,—и во имя этой любви приходилось самому бороться и других призывать к тяжелой, насильственной борьбе. Наша вера предсказывала нам благо страны, благо бедного нашего народа, но сами мы видели только горе, которое сеяли вокруг себя среди самых близких людей. Мне пришлось более 5 лет сидеть по разным тюрьмам и этапам; я вынес ссылку и солдатчину, и вот я завтра умру на плахе, но, не скрывая ничего, чистосердечно говорю тебе, что самое худшее это было сознание причиненного близким людям горя. И вот теперь я сижу,—а рядом со мной ты спишь; твоя же несчастная мать душит в себе слезы, бодрится,—видит самое тяжелое, трудное будущее,—я же, верь, дорогой, мучусь одним только сознанием, сознанием тяжелого горя, причиненного вам обоим! Если бы не это сознание, весело взошел бы на плаху, весело взглянул бы в последний раз на мир божий и отдал бы душу свою за други своя! Но вы меня про-

Участники вооруженного сопротивления в Якутске.

22 марта (4 апреля) 1889 года.



Первый ряд (сверху слева направо) Уфлянд, Шехтер (Минор), Фундаминский, Берман, Перли (Брагинская), О. Эстрович. Второй ряд. Франк, М. Эстрович, Брамсон, Болотина, Брагинский, Ратин, Гассох (Гоц). Третий ряд. Пик, Муханов, Подбельский, Шур, Ноткин. Четвертый ряд. Наталия Коган-Бернштейн, Лев Коган-Бернштейн, Гаусман, Зотов, Евг. Гуревич. Пятый ряд. Гоц, Александр Гуревич, София Гуревич, Минор, Орлов. Шестой ряд. Гейман, Капчер, Терешкович.

(К статье Л. Бермана).

стите, вы будете меня помнить на веки, и это мне поможет твердо и бодро умереть! Да благословит тебя бог, да не покинет тебя всю жизнь твоя вера жива в царство правды, свободы, добра! Не забывай меня, дорогой мой, хороший, незабвенный, неоцененный сын! А главное—главное помни, что мать свою ты должен любить больше всего на свете. Пусть это будет моим последним тебе заветом. А затем, прощай, мой ненаглядный, и помни меня хоть по рассказам твоей родной мамы. Целую тебя многое множество раз. Прощай!

Твой горячо любящий, но виновный перед тобой отец Лев Коган-Бернштейн.

1889 года, 6 августа.

Незабываемые страницы прошлого.

(Якутское восстание ссыльных 1904 года).

1900—1904 годы были периодом необычайного оживления для Якутской ссылки. Все возроставший под'ем волны революционного движения в России отразился массовыми высылками партийной интеллигенции и рабочих во все города и медвежьи углы Якутской области. Ссылка принимала массовый характер и в связи с этим теряла тот элемент изолированности и духовного одиночества, какие были так характерны для Якутской ссылки за долгие предшествующие годы. Несмотря на все принимаемые администрацией меры к расселению ссыльных по самым отдаленным улусам, полного одиночества, за редкими исключениями, не получалось, а во многих местах создавались довольно крупные центры ссылки, выдававшиеся, как по количественному составу, так и по индивидуальному подбору видных представителей политических группировок. Частое прибытие новых партий создавало непрерывающуюся связь с центрами революционного движения в России и давало возможность ссылке жить отраженными интересами живой революционной действительности. Налажено было регулярное снабжение нелегальной литературой, для многих из ссыльных не прекращалась возможность участия в нелегальной печати путем отсылки статей—так или иначе, тысячеверстные пространства, отделявшие ссылку от живой жизни, побеждались путем непрекращающегося общения с революционной средой, к которой тянулись бесчисленными нитями связаннные с ней и насильно от нее оторванные многочисленные кадры революционеров.

В самой ссылке спешно создавались кружки для малоподготовленных товарищей. Старые, испытанные вожди движения, оторванные от революционной практики, посвящали весь свой досуг разработке теоретических вопросов, делясь результатами упорной работы с товарищами не только по ближайшим, но и по более отдаленным местам ссылки. Трудно передать то оживление, каким дышала ссылка, насыщенная рядом выдающихся по теоретической и практической революционной работе людей: рефераты, доклады, диспуты в переписке между различными колониями ссыльных—все это вносило живую струю интереса и связи с местами, откуда насильно оторвана была революционная масса, наводнявшая ссылку.

Попав случайно в Иркутск по оплошности писаря, не разобравшегося в моих сопроводительных бумагах, и задержавшись там на месяц в ноябре 1900 года, я была глубоко поражена и потрясена впечатлениями знакомства с рядом лиц, знаменовавших собою целые этапы предыдущей революционной эпохи, наряду с участниками самого последнего революционного движения. Глава народоправчества т. Натанзон, виднейшие народовольцы Стефанович, В. И. Сухомлин, Андрей Белоусов и другие, первые попавшие в ссылку социалисты-революционеры (из них ярко помню фигуру В. А. Вознесенского), группа видных социал-демократов—Мандельберг, Шилингер, С. В. Померанец.

И. М. Ром и другие—вся эта группа забрасывала друг друга оживленнейшими диспутами, рефератами, индивидуальными турнирами и беседами по важнейшим вопросам революционной теории и тактики.

По пути в Якутск, когда вся наша партия, включавшая ряд участников первого с'езда РСДРП (Б. Л. Эйдельман, Л. В. Теслер, В. Д. Солодухо-Пиразич) остановилась на дневку в Верхоленске, нас ожидала интересная встреча с Л. Д. Бронштейном-Троцким, И. Л. Соколовским, А. Л. Соколовской, Желкевичем и другими ссыльными, с'ехавшимися со всех прилегающих станций. Л. Д. Бронштейн-Троцкий встретил нас рядом блестящих по содержанию и форме рефератов, превратившихся в оживленнейшие диспуты, затянувшиеся, насколько помнится, дня на два, и продолжавшиеся вплоть до самой посадки нашей партии на выстроившиеся в ряд кошовы. Такие диспуты, рефераты на лету для проходивших партий были самым обычным делом и давали на долгое время пищу для работы по всему пути продвижения партии.

В разгар наиболее оживленного момента продвижения новых партий, весною 1904 года по всей Якутской ссылке прокатилась волна циркуляров иркутского генерал-губернатора графа Кутайсова, фактически вводивших осадное положение для ссылки. По циркулярам, об'явленным по всей ссылке, запрещались какие бы то ни было встречи проходящих партий, переписка ссыльных отдавалась под строжайший контроль местной администрации, запрещались какие бы то ни было отлучки ссыльных, хотя бы и за врачебной помощью, без предварительного разрешения губернской, либо уездной администрации, и, что самое главное, отменялась обратная пересылка ссыльных по окончании срока ссылки в Россию за казенный счет.

Нечего и говорить о том, как встретила ссылка опубликование циркуляров. Ссыльным предложено было ознакомиться с циркулярами под расписку—никто и слышать не хотел о даче каких бы то ни было расписок. Предложено было не встречать проходящих партий—навстречу партиям стали нарочито с'езжаться со всех окрестностей. До циркуляров встречи партий происходили в порядке самых задушевных товарищеских встреч—по об'явлении циркуляров они стали носить самый демонстративный характер: пение революционных песен со стороны встречающих и проезжающих, красные флаги, возгласы «долой самодержавие»' и прочее, и проч. Предлагалось испрашивать разрешения на отлучки с мест приписки—от этого стали воздерживаться и те, кто раньше почему либо, щадя приличную администрацию на местах, заявлял об от'езде. В общем ссылка, и без того уже представлявшая непрерывно передвигавшийся с места на место поток людей, превратилась в какой-то неудержимо странствующий табор. Переезжали и переходили с места на место не только для того, чтобы встретить партию, прослушать реферат, получить свежую партию литературы, но уже и просто с целью разузнать, какие еще новые методы борьбы с циркулярами придуманы в том, или другом месте. В развитие циркуляров Кутайсова местным Якутским губернатором издан был приказ о запрещении под угрозой денежного штрафа предоставлять политическим ссыльным лошадей для самовольных отлучек в город и другие улусы, но и это препятствие оказалось преодолимым, так как расстояние в 100 и даже 150 верст перестало смущать ссыльных, передвигавшихся где пешком, где на лошадях, но все же неизменно пребывавших в бегах.

Ссылке предстояла упорная борьба с циркулярами, и она выражала к ней свою полную боевую готовность. Карта администрации была на первое время почти бита, и она решила применить обходные пути. За правило было принято менять маршруты партий по части остановок в пути—самые бдительные дозоры ссыльных не могли уследить за провозом партий мимо населенных ссыльными пунктов в ночное время; также очень трудно было помешать провозу во весь карьер лошадиного бега. Если конвоируемая партия оказы

валась подчиниться маршруту, не желала выезжать поздней ночью, или рано на рассвете, ее заставляли следовать насильно, применяя такие меры, как связывание веревками на жесточайшем холоде. Жестокое циничное отношение к сопровождаемым партиям политических ссыльных сменило прежнее строго корректное и подчас даже трогательно внимательное обращение конвойной команды и офицерского состава. Путем определенного подбора конвойных команд и соответствующей среди них агитации, администрация создала невыносимые условия для политических партий во время следования по Якутскому тракту.

Одновременно стали применяться к ссыльным репрессии за неподчинение циркулярам Кутайсова: участились случаи высылки в административном порядке с прежних мест ссылки в более отдаленные глухие углы за самовольные отлучки, за встречи партий и прочее, из Западной Сибири стали пересылать в Восточную. Об'явлено было об удлинении сроков административной высылки за невыполнение злополучных циркуляров.

В Якутск стали прибывать товарищи, пересылаемые за «сопротивление законным распоряжениям власти»—в числе пересылаемых из Ачинска добровольно выбрал местом ссылки Якутск ветеринарный врач Лев Львович Никифоров, явившийся одним из инициаторов Якутского протеста.

Самая мысль о необходимости протеста возникла в среде ссыльных в связи с тем, что дикие, совершенно неприменимые к жизни ссылки циркуляры стали внедряться путем циничного насилия. Целый ряд фактов недопустимого произвола администрации, нагромождаясь в спешном порядке, били по сознанию ссыльных, все более выдвигая на очередь необходимость организованного отпора.

Когда заброшенным в глухие улусы Якутской области товарищам администрация отказывала в праве передвижения с места приписки даже за получением самой необходимой медицинской помощи, когда участились высылки в места, где сосланным товарищам не находилось даже помещения для жилья, ибо ошалевшая администрация перестала справляться о числе жителей в данном наслеге [1]) и количестве юрт и расселяло прибывающие партии наугад, заботясь только о полной изоляции, когда тяжело больных туберкулезом товарищей отправляли без обычной передышки в таких населенных пунктах, как Олекминск, Якутск, где им могла быть оказана надлежащая медицинская помощь, непосредственно после невыносимо тяжелого даже для здоровых людей перегона по Якутскому тракту на далекий Север—в Вылюйск, Верхоянск и Колымск—все эти факты не могли пройти незамеченными для сплоченной группы активных революционеров, собравшихся в этот момент в Якутске. Со всех сторон, изо всех далеких углов Западной и Восточной Сибири в Якутск долетали сведения о безпрерывной борьбе ссылки с циркулярами Кутайсова—эпизоды этой борьбы, то победные, то полные элементов гнета и насилия со стороны администрации, вызывали самые горячие отклики среди якутян. Каплей, переполнившей чашу, явилось, насколько мне помнится, прибытие партии, подвергшейся физическому насилию со стороны конвоя. Партию эту за попытку организовать, вопреки стараниям конвоя, встречу с товарищами в Олекминске и других местах по пути к Якутску, везли связанную в течение двух-трех часов на жесточайшем холоде, при чем одного из товарищей—Хацкелевича конвойный осмелился бить по лицу. Защищавшийся, сколько хватило сил у связанного человека, боролся с конвойными, но не в состоянии был отклонить издевательств со стороны рассвирепевшего конвойного. Помню и до сих пор, как глубоко потряс и возмутил

[1]) Наслег—заброшенное в Тайге и часто удаленное от тракта поселение в несколько юрт.

всех нас рассказ тов. Хацкелевича. Это был первый случай такого наглого издевательства над партией политических ссыльных, обставленного при том такими условиями, которые исключали возможность сопротивления на месте.

Каждый из нас ярко чувствовал, что если такие факты насилия пройдут для администрации безнаказанно, трудно представить себе, во что может вылиться цинизм и наглость оголтевших ее ставленников.

В тот же день, как нами заслушан был краткий, но потрясающий рассказ тов. Хацкелевича, инициативная группа, создавшаяся по быстрому сговору собралась для обсуждения вопроса о мерах протеста против усиливающегося произвола администрации. Я теперь затруднилась бы по истечении 20 лет, после пережитых за истекшее время ярких моментов и эпизодов новой революционной борьбы, возстанавливать происшедшие тогда эпизоды в точности, и потому могу говорить лишь в общих чертах. Насколько помнится, в состав инициативной группы входили: Лев Львович Никифоров, Арон Лурье, М. Бройдо, Ева Львовна Бройдо. Владимир Довыдович Пиразич (Солодухо), Софья Владимировна Померанец, Илья Леонтьевич Виленкин, я и другие товарищи, которых я затруднилась бы указать безошибочно. В дальнейшем инициативная группа немедленно разослала приглашение с'ехаться в Якутск всем активным товарищам, расселенным вокруг Якутска на расстоянии от 12—15 до 300—400 верст. Через день-два в Якутск прибыли Павел Феодорович Теплов, Лев Всеволодович Теслер, Костюшко-Валюжанич, Таня Жмуркина, Павел Розенталь, Анна Владимировна Розенталь, Виктор Константинович Курнатовский и другие.

В первых же двух заседаниях инициативной группы наметился план действий. Принципиально установлено было, что протест против циркуляров Кутайсова и против произвола администрации необходим. Форма протеста, после обсуждения ряда внесенных проектов, принята была почти единогласно. Ее автором и горячим защитником явился Лев Львович Никифоров. Заключалась она в следующием: на имя Якутского губернатора подается мотивированное заявление за подписями всех присоединившихся к протесту об отмене циркуляров Кутайсова с предупреждением, что впредь до этой полной отмены никто из протестантов не подчиняется распоряжениям администрации о возвращении на место ссылки или следования из Якутска на места назначения. Для организованного проведения этой меры все участники протеста собираются в одном доме, по возможности укрепляют его от вторжения администрации и проводят свое активное сопротивление осуществлению мероприятий администрации впредь до удовлетворения выставленных требований.

Вопрос о протесте передан был на широкое обсуждение всех политических ссыльных, находившихся в то время в Якутске. На собрание явилось около восьмидесяти человек, и, после страстного обсуждения вопроса, ярко наметились две противоположные тенденции. Группа человек в пятьдесят присоединилась к протесту, хотя и разбивалась несколько по вопросу о приемлемости и целесообразности принятой формы. Меньшинство—человек тридцать, в дальнейшем несколько усилившееся, высказывалось категорически против протеста, считая борьбу в ссылке, в атмосфере подневольного житья и отрезанности от общей революционной работы, вредной и недопустимой мерой, поскольку она не может дать реальных результатов и связана с утратой силы и энергии, необходимой для работы в России по возвращении из ссылки. Что касается предлагаемой инициативной группой конкретной формы протеста, она встречала резкое осуждение, поскольку ей предсказывалась полная неудача, и поскольку эта группа противников протеста считала неприемлемым повторение уже однажды проделанного опыта первого Якутского протеста (Коган-Бернштейн и другие).

В группе противников протеста наиболее сильное оппозиционное ядро составляли старые Шлиссельбуржцы (т.т. Шебалин, Панкратов), старики-народовольцы (Попов, Пекарский и другие) и группа социалистов-революционеров, шедшая за стариками. Раздумывать между тем не приходилось—успех протеста требовал решительности и быстроты действий. Первое собрание ссыльных состоялось 14-го февраля, а 17-го февраля уже окончательно определен был кадр участников протеста (45 чел.), намечена квартира для Якутского «форта Шаброль» и проведены все необходимые подготовительные действия. На одном из организационных собраний протестантов, вопреки нашим горячим убеждениям, выделены были трое товарищей для связи «форта-Шаброль» с живым миром и всей остальной, еще не присоединившейся политической ссылкой— то были я, Софья Владимировна Померанец и Илья Леонтьевич Виленкин. Для забаррикадированного форта избран был дом якута Романова, служивший в течение ряда лет коммунальной квартирой для политических ссыльных. Против этого, стоявшего на горке двухэтажного дома, помещался маленький домишко, служивший квартирой для меня и Любови Владимировны Ериной. Этот дом, окна которого выходили на «Романовку», где засели протестанты, являлся удобным пунктом для всякого рода взаимной сигнализации, предупреждений и прочее.

По конспиративным соображениям в воззвании, поданном губернатору романовцами, отсутствовали фамилии трех, оставленных на воле и протест направлен был за подписями сорока двух товарищей. Удачно написанный Львом Львовичем Никифоровым, акт этот открывал жуткую страницу неравной борьбы протестантов с наглым и полным цинизма противником.

18-го февраля, утром, получив одобрение романовцев на предложение закупить для них на все, имеющиеся в моем распоряжении и собранные с этой целью деньги оружие, я явилась на Романовку с одним браунингом, двумя или тремя смит-вессонами, несколькими бульдогами и каким-то огромным старинным револьвером, закупив в оружейных магазинах Якутска все, что там к тому времени залежалось. Картина, которая предстала моим глазам принадлежит к разряду незабываемых моментов жизни. «Романовцы» только что отправили губернатору свой вызов и спешно готовились к внутреннему и внешнему устройству своего форта. Над зданием вверху спешно прибивалось красное знамя—вызов на бой, резко брошенный за всю ссылку и во имя ее освобождения от неслыханного произвола. Внутри дома шла кипучая организационная работа по распределению обязанностей и одновременно, под оживленные шутки и возгласы, кипела военная защита форта. Пока от меня принимались револьверы, передавались поручения и устанавливалась система сигнализации, буквально в течение получаса прорезаны были во всех необходимых пунктах бойницы для обстрела в случае военного нападения на Романовку. Парадная лестница срочно укреплялась, ступени ее в нескольких местах разрушались, зияя пропастями, которые усложняли возможную атаку. Еще за несколько минут перед тем, легко взбежав вверх по лестнице, я обратно могла, только повиснув на руках у товарищей, переправиться через «волчьи ямы», как они в шутку называли возникшие сооружения.

Трудно описать тот энтузиазм, тот безграничный под'ем, который царил среди всей этой военной сумятицы. Я любовно переводила глаза от одной группы к другой, от одного близкого лица к другому и неузнавала таких знакомых мне до того лиц—огонь энтузиазма, непередаваемый порыв к борьбе преобразил все лица, сделав их, может быть, на несколько преходящих часов, до неузнаваемости преображенными и светлыми.

С жутким чувством расставалась я с кипучим фортом, подавляя в душе чувство невольной обиды за суровый приговор товарищей, обрекший меня в

силу подчинения дисциплине на одинокое пребывание вне родной группы, с которой связаны были все устремления.

У входа я неожиданно лицом к лицу столкнулась с вице-губернатором Чаплиным, взбиравшимся вверх по лестнице и остановившимся перед первым зиявшим в ней отверстие. Навстречу ему вышел на лестницу Лев Львович Никифоров.

Вице-губернатор желал, как мне потом передали, выяснить всю ненужность принимаемых Романовцами мер. Циркуляры Кутайсова не нравятся, об этом ему, Чаплину, заявлено, а он, со своей стороны, заявит по начальству—вот и все. Никаких экстренных мер, никаких действий скопом предпринимать не следует, ибо это только усложнит дело. На предложение Л. Л. Никифорова дать письменную гарантию, что до разрешения вопросов об отмене циркуляров никто из подписавших протест из Якутска выслан не будет, вице-губернатор ответил, что, конечно, никаких обещаний, да еще в письменном виде, он давать не может и что достаточно поверить в его искреннее желание не осложнять дела репрессиями. В это доброе желание никто поверить не мог, тем более, что вице-губернатор не мог дать романовцам ни письменного, ни устного обещания—не подчиняться тем распоряжениям своего высшего начальства, которые могли коснуться судьбы лиц, подписавших протест. Вице-губернатор очень просил о разрешении пройти в комнаты и лично переговорить со всеми собравшимися на Романовке, но это, по предварительному обсуждению, сочли излишним, предложив ему ограничиться обменом дипломатических нот с представителем Львом Львовичем Никифоровым.

Хвастнув тем, что прибыл без всякой стражи и дав всяческие уверения, что никаких репрессий без предварительного предупреждения романовцев он вводить не будет, вице-губернатор покинул Романовку. Во время краткого пребывания в Романовке выяснены были слабые места «форта Шаброль»—малое обеспечение провиантом и льдом для питьевой воды. Нужно было срочно налаживать снабжение протестантов, и в этом мне всецело пришли на помощь хозяева мои — семья якута Говорова, много общавшаяся с политической ссылкой и искренно сочувствовавшая начатому большому делу. Зная мою неосведомленность во всех практических вопросах хозяйства, хозяйка моя взялась сопровождать меня во всхе зокупках, и в течение нескольких часов остающегося дня и на следующее утро нами закуплены были и нагружены три подводы всевозможного провианта. К двум часам дня 19 февраля подводы эти торжественно проследовали во двор «романовки», где были встречены с надлежащим энтузиазмом. На охране осажденной Романовки в то время уже находилась кучка казаков, не решительно, но весьма почтительно расступившихся при появлении внушительного транспорта с провизией. Через несколько минут после провизии в ворота Романовки проследовали один за другим три воза со льдом, над рубкой и доставкой которого все утро потрудился работник-якут, живший в нашем доме и сочувственно наблюдавший все происходившие на Романовке приготовления к бою с «тойонами»—не очень любимым в якутской среде начальством.

По конспиративным соображениям мы избегали часто являться на Романовку, но все же в этот день и на следующий там побывали и Софья Владимировна Померанец, доставившая собранное на-спех у ссыльных оружие и даже какое-то подобие бомбы (продукт доморощенного изготовления имевшихся среди товарищей-химиков) и кое-кто из других товарищей.

Немногочисленная стража, поставленная у дома, на первое время никаких препятствий к вхождению и выходу из Романовки не чинила. Лишь

через несколько дней стража получила инструкции не пропускать никого в импровизированную крепость.

В один из первых дней вышел из Романовки и направился прямо в мою квартиру Лев Львович Никифоров. Он осведомился о настроении товарищей, непрерывно приезжавших из разных концов в Якутск, условился о порядке сигнализации в случае присоединения к протесту значительной группы прибывавших товарищей, побывал, по поручению романовцев, у вице-губернатора для выяснения некоторых вопросов о порядке блокады, установленной вокруг дома [1]), сообщил на обратном пути о достигнутом соглашении по поводу места нахождения стражи и о том, что вице-губернатор, телеграфировавший в Иркутск и Петроград о происшедшем событии, еще не получил никаких руководящих указаний и пребывает в полной нерешительности и неопределенности,—и вернулся в Романовку.

Среди части товарищей, вначале отрицательно относившихся к протесту, выявилась довольно определенно тенденция в той или иной форме поддерживать «романовцев». То же настроение не давало усидеть на месте застрявшим в глухих углах товарищам, опоздавшим к организационному моменту и спешно с'езжавшимся с каждым днем. Трое нас, романовцев, оставленных для сношений с этими группами попеременно переходили от полной уверенности в растущем новом взрыве борьбы к глубокому сомнению в осуществимости каких бы ни было мер, кроме бумажных протестов, оживленно предлагавшихся на каждом из устраиваемых нами собраний. Собраний этих было организовано очень много, подчас они бывали довольно многолюдны—чувствовалась несомненная жажда выявить свой протест, но у большинства не хватало той революционной готовности, которая сплотила и повела на подвиг группу романовцев.

На разосланные нами во все концы ссылки и в Россию телеграммы и письма о присылке денег для проведения протеста получился самый горячий отклик — денежные переводы по указанным адресам, запросы, выражения сочувствия, сообщения о способах борьбы в других уголках ссылки посыпались со всех концов.

Все эти сведения, как и сообщения о настроениях ссылки в самом Якутске необходимо было срочно передать на Романовку, и за это взялся один из товарищей, всей душой стоявший за Романовку, но по всему складу характера органически чуждый какой бы то ни было дисциплинированной формы действия. Это был тов. Кац, красочно описанный в целом ряде документов, относящихся к протесту.

Нагруженный целым рядом писем и захвативший по собственному почину табак в качестве гостинца для романовцев, тов. Кац независимо и смело направился к группе казаков, охранявших на почтительном расстоянии ворота. Для нас, стоявших и наблюдавших за этой сценой на значительном расстоянии, были совершенно непонятны те чары, в силу которых перед товарищем Кацом в некотором страхе расступилась стража, пропустив его к быстро открывшимся воротам. Как оказалось впоследствии, тов. Кац, сунув руку в отопыренные карманы пальто, кричал во весь голос: «Застрелю, застрелю, не подходите!» И эта-то угроза невооруженного человека оказала столь магическое действие на вооруженную винтовками стражу. Тов. Кац честно исполнил свое поручение, передал письма и принес всем нам вести о настроении романовцев. Ему там так понравилось, как

---

[1]) Речь шла об определенной дистанции для поставленной у дома стражи, так как среди последних находились охотники подойти достаточно близко, чтобы иметь возможность осведомиться об укреплениях и способах защиты, спешно проводившихся на территории Романовки.

он нам поведал, что возвращаться назад не было никакой охоты, но, видимо, столь же мало было желания со стороны романовцев удержать в стенах осажденного форта мало уравновешенного тов. Каца.

Несколько дней прошло без сношения с Романовкой, и это начинало уже беспокоить всех нас. Особенно тягостна была неизвестность в долгие часы ночи, когда нельзя было видеть красного флага на Романовке, родных физиономий у амбразур в окнах, когда весь дом погружался в полный мрак[1]), невольно вызывая тяжелые сравнения с молчанием и мраком могилы.

В одну из минут такого напряжения неизвестности перед глазами моими на пороге моей комнаты бесшумно встала фигура одного из романовцев—милого, всегда и всему улыбавшегося тов. Лаговского, заставив меня буквально отшатнуться, как перед призраком. В чем дело? Вы-ли это, Лаговский? Как вы прошли мимо стражи,—задавала я беспорядочные вопросы.

Мне без конца улыбались в ответ праздновавшие победу глаза, а голос, пытавшийся сохранить все оттенки серьезности и внушительности, сообщал о тех мерах, которые должны быть мною немедленно приняты.

Нужно было сейчас же достать платье—верхний рабочий якутский костюм, завтра к двум часам нужно было купить, или взять где-либо на день быстрого, крепкого коня, наскоро закупить завтра утром провизии, табаку, махорки, спичек и прочее, все это доставить на условленную квартиру, а, главное, надо было не задерживать тов. Лаговского ни минуты, снабдив его деньгами, письмами для Романовки и прочее.

Я так и не узнала тогда способа продвижения тов. Лаговского через сторожевую цепь, как ни билась в догадках. Лишь спустя много времени я узнала, что т. Лаговский прополз из не слышно отворившейся калитки меж ногами у казаков, одетый в сшитый из простынь белый саван.

На утро я об'яснила все, что мне было нужно, квартирной хозяйке, и через два-три часа работник-якут купил для меня самый настоящий якутский костюм, хорошего коня с седлом, в то время, как я доставала все, что можно было без особого риска навьючить на коня.

Под вечер, в условленное время, заранее сообщенное мною путем сигнализации на Романовку, я вышла на улицу, чтобы присутствовать при возвращении тов. Лаговского на Романовку.

Это был час, когда по нашей улице, спускавшейся откосом к реке Лене, обычно гнали на водопой лошадей. В числе ряда якутских фигур, склонившихся в седле, я с трудом различила тонкую, более стройную, чем все остальные, фигуру тов. Лаговского. Как и все, он бормотал про себя незатейливый якутский напев в две-три переливчатых ноты, как и все держал курс прямо на реку Лену. И вдруг, поравнявшись с Романовкой, тов. Лаговский сразу лихо повернул коня под прямым углом и бешенным аллюром погнал его прямо на растерявшуюся стражу. Борота Романовки вмиг широко открылись, показалась группа товарищей, радостно приветствовавших тов. Лаговского и кланявшихся мне, Софье Владимировне Померанец и еще кое-кому из присоединившихся к нам товарищей. Опомнившаяся стража ринулась было к открытым воротам, но они с магической быстротой захлопнулись, оставляя позади себя шумные возгласы, взрывы революционной песни, отдельные звучные голоса.

Впечатление от этой военной прогулки тов. Лаговского было прямо ошеломляющее для всего полусонного Якутска. Вице-губернатор, как нам передавали, не в силах был сдержать своего удивления и даже восхищения перед смелостью поступка. «Вот еслиб наши казаки способны были на что-либо

---

1) Из предосторожности на Романовке по ночам совсем не зажигалось света в фасадных комнатах, чтобы сделать невозможными наблюдения с улицы.

подобное», тщетно предавался он, как нам передавали, мечтаниям. Но все же этот инцидент вызвал определенный перелом в отношении администрации к романовцам и Романовке. Если пребывание группы ссыльных за укрепленными стенами Романовки создавало вообще некоторую неуверенность в спокойном течении жизни в городе, то подобные смелые вылазки, непредвиденное и никем неожиданное появление романовцев в городе, возвращение в победном марше назад—вызывало уже определенную тревогу за те формы, в какие могли вылиться подобные вылазки из осажденной крепости.

Караул у Романовки был значительно усилен, не только в дом, но и к дому никто не подпускался. Тогда по счастливо пришедшей в голову идее использована была в качестве почтальона для передачи почты из осажденного дома в мою квартиру и обратно собака Иголкин, опоэтизированная и прославленная во всех мемуарах, относящихся к протесту романовцев. Собака Иголкин, или, как мы ее всегда называли, «Иголочка», принадлежала Любови Владимировне Ериной, жившей в одной квартире со мной как раз напротив Романовки. Собака эта была подарена ей приехавшим из полярной экспедиции товарищем Ционглинским, спасшим собаку от верной смерти, угрожавшей ей за упорное уклонение от перевозки тяжести в упряжке. Тянувший подневольную лямку политический ссыльный, случайно попавший по особому разрешению в научную экспедицию, оценил непреклонную волю животного, с поразительной настойчивостью уклонявшегося от ярма запряжки и кнута погонщика. Тов. Ционглинский забрал собаку к себе, перевел ее на свой паек и тем избавил от пули, так как экспедиция не желала кормить собаку-дармоеда, уклонявшегося от положенного труда. Уезжая в Иркутск по окончании экспедиции, тов. Ционглинский подарил своего любимца Иголкина, необыкновенно красивую, белоснежно-пушистую, с торчащими палочками шерстью северную собаку жене политического ссыльного Л. В. Ериной. Иголочка вскоре стала общею любимицей ссылки, как за легендарную историю неподчинения гнету и насилию, так и за проявленную ею вполне осмысленную ненависть к полицейским чинам. Иголочка не издавала ни звука и редко вообще лаяла, как и все северные собаки; ко всем ссыльным, якутам и обыкновенным смертным была необыкновенно ласкова и бежала навстречу, но стоило появиться на пороге кому-либо в погонах и с кокардой, как Иголочка становилась настоящим тигром, готовым к прыжку на лютого врага. Эта ненависть к полицейским чинам и к конвою доставляла всем нам не мало удовольствия и служила предметом обычных острот и анекдотов. Эта же черта поведения Иголочки была лучшей порукой в том, что никакая сила на свете не заставит нашего почтальона передать письма во вражеские руки. Мне трудно теперь установить, кто первый придумал использовать Иголочку—мы, оставшиеся на воле, или осажденные наши товарищи. Определенно помню только тот момент, как мы с Любовь Владимировной Ериной спешно оправляли под ошейником зашитые в белый коленкор и свернутые трубочкой письма, ласково гладили пушистую белую шерсть и уговаривали Иголкина: «иди же, иди Иголочка ко Льву Львовичу, отнеси ему это».

Имя Льва Львовича было хорошо знакомо Иголкину, и особых трудов не стоило уговорить Иголкина пойти по нужному направлению—он и без того уже не раз пробирался на Романовку, презрительно обходя ряды конвоя и шмыгая в подворотню. На Романовке были лучшие друзья Иголкина, не только восторженно встречавшие его приход, но и кормившие его сахаром, до которого он был большим охотником.

Обратная доставка почты с Романовки была для Иголкина настоящим триумфом. Его ласкали и гладили не только мы с Любовь Владимировной,

но и все друзья и родные, получавшие при его посредстве вести с Романовки.

Каждый из нас старался сделать ему что-либо приятное, так или иначе выразить свою благодарность. На Романовке же Иголкин сделался любимым гостем, прихода которого ждали с трепетом и нетерпением. С большим трудом вышел из Романовки, дня через два-три после возвращения тов. Лаговского, Лев Львович Никифоров. Пройти незамеченным он никак бы не мог, будучи огромного роста и очень видным по фигуре, но ему удалось пробить себе дорогу той непреклонной настойчивостью, которая была так ему свойственна и обычно приводила в полное ему подчинение тюремную администрацию, часовых и конвойных.

Лев Львович Никифоров пробыл на воле два дня, проведя ряд совещаний и два больших собрания ссыльных с целью выяснения настроений и возможностей расширения протеста за стены Романовки. На первых же порах резко выделилась группа в человек пять-шесть, заявившая о своем согласии присоединиться к Романовке. Были отдельные предложения террористических актов, ареста вице-губернатора Чаплина, либо воинского начальника и доставка их на Романовку в качестве заложников, предлагалась вылазка группы романовцев и соединение их для совместных актов с находившимися на воле товарищами и прочее. Льву Львовичу желательно было лично уяснить себе физиономии товарищей, остававшихся вне Романовки, наметить общую ситуацию и вернуться на Романовку после предварительных переговоров с вице-губернатором. Насколько мне помнится, предметом для об'яснений с вице-губернатором должны были послужить вопрос о порядке выхода из осажденного дома, о доставлении туда провианта, о мерах дальнейшей охраны дома и прочее. По предыдущим переговорам с вице-губернатором дело складывалось как будто так, что романовцы не стесняются в свободе передвижения, поскольку они сами избрали для себя Романовку, как наиболее недосягаемое для администрации место, а защиту и укрепление дома предприняли для предупреждения насильственного раз'единения и рассылки каждого из протестантов в отдельности по разным местам. По отношению к ним, между тем, стали применяться способы блокады, как если бы не они сами, а администрация обрекла их на заточение.

Введение этой блокады явилось прямым нарушением обещания, данного вице-губернатором при его первом посещении Романовки о том, что обо всех применяемых репресиях они будут предварительно ставиться в известность. Именно этот вопрос о нарушении данного слова должен был быть освещен при переговорах.

В первый день вице-губернатор отговорился отсутствием свободного времени и назначил переговоры на следующее утро. Отправившись к вице-губернатору, Лев Львович Никифоров обратно уже не вернулся, будучи арестован и под усиленным конвоем отправлен по распоряжению вице-губернатора за 600 верст в далекий улус. Он отправлен был без гроша денег, в легкой обуви, совершенно не приспособленной для далекой дороги. Помощь якутов во время короткой стоянки в пути спасла его от верного отмораживания ног. Та же услужливая дружеская рука якутов, догадавшихся, кого везут конвойные, доставила нам коротенькую записку об аресте и месте назначения Льва Львовича.

Прошло несколько дней, и Арон Гинзбург с В. П. Бодиевским совершили новую смелую ночную вылазку, тем же способом, что и тов. Лаговский. Они пробыли на воле день-два, забрали с собою группу наиболее ценных, присоединившихся к протесту товарищей, забрали на двух санях провиант, патроны для ружей, кое-какое оружие и другие припасы и вернулись

обратно способом, приведшим в изумление и восхищение одних, в бешенство и негодование всю администрацию.

Опять небольшая наша группа была на улице в условленный час. Мимо нас по направлению к спуску на Лену неслись в бешеном галопе сани, запряженные парой лошадей, догоняемые и обгоняемые санями, запряженными тройкой. В вихре движения трудно было разглядеть, сколько людей едет, что это за люди, слышался только залихватский напев кучера, управлявшего парой. На передних санях правил Владимир Петрович Бодиевский, сумевший вложить в свою песню столько экспрессии, покоряющего задора, безудержного порыва вперед, что парализовалось какое-бы то ни было чувство, кроме невольного подчинения внимания всех зрителей и слушателей к выполняемому им маршруту. Стража в Романовке подчинилась тому же гипнозу, неподвижно следя за разгоном тройки на Лену. Даже нам, знавшим, куда едет бешеный кортеж, казалось, что пара и тройка вылетят сейчас на Лену, умчатся в порыве на простор и только оттуда вылетят в обход на Романовку. Совершенно неожиданным маневром, завернувши на бешеном скаку под прямым углом, сани помчались с гиком и свистом возниц прямо на стражу, как бы готовясь смять всех и вся на ходу. Вновь повторилась знакомая картина: вмиг распахнулись ворота, пара и тройка влетели в ворота, опять на миг нам посылались дружеские приветствия, разом оборвавшиеся пред сомкнувшейся стеной ворот.

Через полчаса ворота раскрылись, чтобы выпустить сослуживших свою службу почтовых лошадей и сани, взятые на прокат. Задача удалась так блестяще потому, что предварительно В. П. Бодиевский и Арон Гинзбург втечение нескольких часов упряжнялись в крутых ловких поворотах, раз'езжая по реке Лене далеко за городом.

Эта новая вылазка ознаменована была резким поворотом в политике администрации, пораженной слухами о том, что на Романовку прорвалось 15 вооруженных ссыльных, готовившихся смять сторожевые посты в случае сопротивления. Нам передано было о том, что на состоявшемся совещании гражданской и военной администрации поставлен был вопрос о взятии Романовки вооруженной силой. Предложение было категорически отвергнуто воинским начальником, заявившим, как дошли до нас слухи, что на верную гибель он солдат своих не поведет. Решение этого важного совещания осталось для нас неизвестным, но никакого сомнения не могло быть в том, что растерянность администрации уступает место определенному настроению, так или иначе покончить дело, заставлявшее ежеминутно опасаться новых осложнений. С'ехавшихся в Якутск ссыльных стали усиленно развозить и рассылать обратно. Выслан был также и тов. Кац, постоянно являвшийся то с одной, то с другой претензией в канцелярию вице-губернатора и неперестававший применять тот или иной способ для посещения Романовки.

По городу поползли слухи о том, что на монастырской стене устанавливаются орудия для обстрела Романовки. Говорили о проекте поджечь дом ночью и приписать гибель Романовки неосторожному обращению осажденных с огнем. Откуда-то приходили версии о предложении облить романовцев из пожарных насосов через амбразуры в окнах и заморозить ледяной струей, либо высадить окна и обречь их на неизбежную сдачу.

Возможно, что все эти меры полностью или частично и вставали перед администрацией, но одобрения в конечном итоге не находили. Вице-губернатор Чаплин, поскольку фигура его выяснилась для нас во всем этом деле, был молодым администратором, попавшим в якутские дебри из шумного Петрограда и мечтавший о быстрой и успешной карьере. На фоне полного безлюдья и бездарности чиновничьей среды, повидимому, ему мало улы-

балась сомнительная карьера, построенная на костях группы ссыльных, убитых или искалеченных каким-либо варварским приемом. Гораздо приемлемее и вероятнее представлялся метод обходных путей—и именно этот способ был применен после долгих обсуждений. Он был и наиболее безопасным для администрации, поскольку не только мы, но и стоявшая на охране стража была осведомлена о лихорадочно-спешных укреплениях — блиндажах, возводимых на Романовке как только туда долетели вести о переломе в мероприятиях администрации.

По всем фасадным стенам Романовки от пола до окон и повыше возводились блиндажи из земли, мешков с мукою, солью и бревен. Земля сносилась в мешках из подполья, с чердака, мука взята была отчасти из своих запасов, отчасти из кладовых якута Романова, давно покинувшего с семьею свой дом и переселившегося по соседству. Через заборы передана была Романовцами записка о том, что мука будет взята в оплату, какая назначена будет хозяевами, но, насколько мне помнится, якуты и тут проявили необыкновенную деликатность, не заикнувшись о какой либо компенсации за взятые продукты и попорченную настилку потолка. Для всех нас и особенно для осажденных романовцев эта трогательная отзывчивость всего населения, молчаливое, но всюду проявлявшееся сочувствие служили огромной моральной поддержкой.

Это молчаливое содействие чуяла и администрация, понявшая, что население немедленно поставит в известность романовцев в случае каких либо скрытых приготовлений к нападению врасплох. Нужен был какой-то верный путь в обход—и на этот путь вывел известный всему Якутску вор, взяточник и п'яница, пристав Олесов, отличившийся еще в первом якутском протесте ссыльных народовольцев (Когана-Бернштейна и других) своей безграничной свирепостью, угодливостью и провокационными средствами борьбы против безоружных врагов.

Начальником охраны в Романовке был назначен этот самый пристав Олесов, сразу внесший разложение в среду стражников попойками, провокационными росказнями о намерении романовцев по одиночке перестрелять стражу, о жестокой необходимости из-за их каприза зябнуть на холоду по ночам и прочее. В довершение всего часть стражи заменена была солдатами конвойной команды, сопровождавшими одну из прибывших партий и незаконно задержанными, якобы ввиду ненадежности местной охраны.

Конвойные, спешившие вернуться по домам, спаиваемые и натравливаемые Олесовым против романовцев, стали проявлять к ним явно враждебное отношение. Мы могли слышать у наших ворот безудержную ругань и глумление над романовцами и пьяное бахвальство конвойных, которые с утра до ночи получали все новые порции водки—и непобедимая тревога овладевала нами. Со всех сторон нам спешили передать о настроении конвоя, о провокационных речах Олесова, готовившего зверскую расправу с романовцами. Мы могли только без конца предупреждать через нашего верного почтальона Иголкина о провокационной работе Олесова, взывать к отражению провокации подчеркнуто спокойным поведением и со своей стороны пробовали повлиять на конвойную команду через местных солдат, среди которых были знакомства у Ильи Леонтьевича Виленкина. Не могу теперь сказать определенно, был-ли выпущен нами листок к солдатам, редакция которого была обсуждена и сводилась к популярному изложению причин протеста и агитации за сознательное отнощение к развертывающимся вокруг Романовки событиям. Для нас с несомненностью ясна была назревающая катастрофа—хотелось встретить ее в кругу романовцев, но над нами тремя все еще тяготел запрет оставить предназначенную работу вне стен Романовки.

К началу военных действий, если бы таковые наступили, нам обещан был дружеский прием в стенах «форта Шаброль».

Развязка наступила быстрее, чем мы могли предполагать. Хотя по всем последним вестям с Романовки ясно было, что положение обостряется и провокационная политика Олесова отражается на общем настроении романовцев, первый выстрел, неожиданно прозвучавший из окна Романовки, застал нас совершенно врасплох.

Это было в начале марта часов около трех дня. С утра мне неприятно бросилось в глаза, что часть наружных ставень на фасадных окнах Романовки полузакрыта. Я склонна была видеть в этом какой-то прием защиты от близко подходившего к окнам конвоя, но, поглядев в бинокль, убедилась, что ставни захлопываются конвойными и вновь усиленно распахиваются извнутри стоящими на страже у амбразур окна романовцами. Часам к двум эта операция прекратилась, и все как будто успокоились на время. Я была чем то занята в своей комнате, отдаленной от улицы, когда со стороны Романовки прозвучал выстрел и, неуспев еще выбежать из комнаты, узнала от возвратившегося со службы взволнованного Говорова, что выстрелом из Романовки убит наповал конвойный и тяжело ранен другой. В тот же миг послышались залпы по дому со стороны стражи.

Сознание мое не в состоянии было охватить происшедшее. Я чувствовала только одно, что выстрел мог быть вызван только какими-то провокационными действиями конвоя. На минуту у меня мелькнула даже мысль, что Олесов мог из-за угла выстрелить в конвойных, чтобы вызвать военные действия против осажденных. Раздавшиеся звуки обстрела болезненно отзывались в мозгу и сердце, а в сознание заползала мысль, что я пропустила сигнал, когда надо было явиться на Романовку.

Не отдавая себе отчета, полная одним стремлением очутиться за стенами Романовки, я наскоро набросила на себя шубу и летела к воротам. В сенях меня задержал, бледный, весь дрожавший от возбуждения, Говоров.

— Я не пущу вас. Вы с ума сошли. Вы идете на верную смертъ—ведь вас в первую голову растерзают казаки.

Мне не хотелось говорить ни о чем. Жужжавшие со свистом пули летали, казалось мне, по дому в беспощадной погоне за жертвами Каждая из них несла смерть кому-нибудь из дорогих, ставших такими близкими людей. О чем могла я думать, чего хотеть, как не смерти, или защиты от нападения в бою вместе со всеми осажденными. Я старалась вырваться, говоря безсвязно о том, что мне нельзя оставаться здесь, что я нужна на Романовке.

— Вам даже ворот не откроет никто—ведь они все лежат под блиндажами, если у них есть хоть капля разума. Вы поступаете, как дитя, не рассуждая ни о чем. Подумайте, если они все погибнут, кто будет мстить за их смерть? Ваша жизнь нужна для работы, для мести, а не для гибели от руки рассвирепевших, темных солдат.

Каждое слово больно било по моему сознанию. Якут, человек, которого я так мало до сих пор знала, говорил мне о моем революционном долге, который был так по детски забыт в минуту угрожавшей товарищам опасности. Мне было бесконечно больно и стыдно перед этим человеком и самой собою, и в тоже время чувство бесконечной горечи за безучастность в эти ужасные минуты охватило всю душу. Обстрел длился с перерывами около часу. По городу быстро разнеслась весть о случившемся, и со всех концов бежали близкие, родные и друзья романовцев, и вся оставшаяся в Якутске группа ссыльных. Никто из нас не знал, что делается в доме—кто уцелел, какие ужасы могли наделать градом летавшие по дому пули. Плохо верилось в спасительную силу блиндажей. И когда к дому под'ехал вице-губерна-

тор Чаплин, не у одного из нас шевельнулась мысль о том, что ему здесь не место, что ни ему, ни Олесову, не след бы попадаться нам на глаза.

Чаплин направился к воротам и через несколько минут оттуда показался П. Ф. Теплов и кто-то еще из романовцев. Мы ничего не могли прочесть по их лицам, неясной оставалась для нас и тема их об'яснений с вице-губернатором.

Начальнику конвоя было отдано какое-то приказание и Чаплин уехал. Ворота Романовки были наглухо закрыты, зияли пустые отверстия амбразур в окнах, не видно и не слышно было никакого движения в доме. Угрожающе сбирались кучками конвойные и всюду бросалась в глаза ненавистная фигура пристава Олесова, обходившего посты.

Надвигалась ночь и с нею усиливалось нервное напряжение тревоги и неизвестности. Смены конвоя, шаги в темноте, все неясные шорохи казались полным значения. Уставшие нервы подсказывали страшные картины того, что могло сейчас быть на Романовке.

Траурно повис утром над победным красным флагом приспущенный черный флаг—для всех нас стало ясно, что на Романовке есть жертвы, но кто, кто они? В угрюмо молчавшей группе ссыльных, собравшихся на виду у Романовки, доминировало одно только желание—знать правду, какова бы она ни была. На страже у окон появлялись одно за другим знакомые лица, и мы старались определить потери путем исключения, но так страшны были догадки, что никто не осмеливался передавать их друг другу.

Часам к двум все мы разбрелись по домам, успокоенные мирным поведением стражи. И снова часам к трем над головами у нас прокатился одинокий выстрел, шедший как будто из осажденного дома. В ответ ему раздалась команда, и вновь застучали по дому размеренные залпы.

Трудно передать все ужасы тех нескольких дней, которые несли нам, оставшимся вне стен Романовки, все пытки боли, тревоги, ужаса неизвестности и безграничного напряжения нервов в томительном ожидании.

Мы были совершенно отрезаны от Романовки, так как нам изменила даже наша четвероногая почта — наш милый Иголкин. Окружившая непрерывным кольцом Романовку стража не подпускала больше Иголкина к дому, и он понуро возвращался к нам, бессильный, несмотря на все наши увещания и ласки, пробраться через кольцо блокады.

В редкие промежутки между обстрелами, в утренние часы мы следили за окнами Рмановки и кому-то удалось узнать по знакам, сообщаемым из дома, что среди осажденных есть один убитый и двое раненых. Теперь уже все, кто имел родных и близких среди романовцев, желал убедиться, что смерть пощадила дорогих ему лиц. Наконец, мы могли определить, кто был убит и кто ранен, когда нам удалось с точностью установить это по переговорам знаками с дежурными у оконных постов.

На Романовке был мертвец — безгранично чистый, преданный и пылкий революционер, одесский работчий Юрий Матлахов. Ранены были Костюшко-Валюжанич, энтузиаст и мечтатель, выступавший с искренними предложениями захвата власти путем обезоружения всего якутского гарнизона и ареста якутского губернатора, и скромный, застенчивый, всегда державшийся в тени, южанин Медяник.

Не припомнишь теперь всех проектов, какие возникали среди оставшихся за стенами Романовки ссыльных. Предложения были и очень смелые, и очень выполнимые, но было одно «но», заключавшееся в том, что при самом удачном выполнении задуманных актов никто из нас не мог бы поручиться за последствия, с какими это могло быть связано для Романовки. Протянулось несколько мучительных дней, казавшихся нескончаемыми, и мы

узнали о начатых с вице-губернатором переговорах Льва Всеволодовича Теслера о сдаче романовцев.

Та система провокации, которою окружены были романовцы, способ борьбы, примененный к ним администрацией, поставил их в безвыходное положение. Они стояли перед дилеммой какого-нибудь активного шага, который мог окончиться гибелью для всех, обставленной при том такими условиями, что революционные массы, боровшиеся за тысячи верст, могли бы не узнать никогда всей правды о протесте; либо им оставалось подвергнуться медленному обстрелу, риску постепенной гибели в одиночку, без выяснения той провокационной роли, какую сыграла в ходе протеста администрация.

Возобладало течение за сдачу и продолжение борьбы на суде. Переговоры с вице-губернатором закончились на сдаче романовцами оружия, разрешении им устроить гражданские, революционные похороны павшего товарища, помещении в больницу и обеспечении надлежащего ухода раненым Костюшко и Медянику и заключением в тюрьме до суда всех остальных.

Утром в день сдачи вся якутская ссылка присоединилась к романовцам, вынесшим с пением похоронного марша гроб Юрия Матлахова. За шествием нашим следовала значительная толпа якутских граждан, впервые присутствовавших при революционных похоронах.

Непосредственно с кладбища мы проводили наших дорогих романовцев в якутскую тюрьму, впервые принявшую такую шумную и многолюдную компанию. В тюрьме в это время был только осужденный на долгие десять лет одиночного заключения политический ссыльный Александр Александрович Еригин, осужденный за убийство в Колымске одного из полицейских чинов, нанесшего оскорбление действием политическому ссыльному.

За романовцами закрылись ворота тюрьмы, и открылась новая страница инсценированного судебного процесса.

По соглашению с романовцами, Софья Владимировна Померанец, Илья Леонтьевич Валенкин и я на другой же день после ареста романовцев подали письменное заявление прокурору, ведшему следствие, о том, что мы были участниками протеста, оставленными по приговору товарищей вне стен Романовки. Нас оставили до суда на свободе, обязав подписками о невыезде, а Льва Львовича Никифирова доставили из улуса через несколько дней и заключили под стражу в тюрьму. До суда началось буквальное паломничество ссыльных на свидания к романовцам в тюрьму. Самые свидания эти—оживленные, многолюдные и шумные—напоминали скорее военный лагерь, чем тюремный застенок. Отсюда давались авторитетные указания о способах дальнейшей борьбы с циркулярами, бессильно повисшими в канцеляриях присутственных мест, передавались письма, статьи в нелегальную прессу и прочее. В стенах самой тюрьмы камеры спешно приспособлялись романовцами под учебные комнаты. Учились все и учились всему: грузины учились русскому языку, а русские—французскому, немецкому и английскому; малограмотные учились грамоте, мало подготовленные революционеры получали заправскую выучку, а теоретики наши сражались в ожесточенных спорах между собою с вновь приехавшими товарищами, выковывая твердое миросозерцание в среде своих вольных и невольных слушателей.

Романовцы жили в столь обычной для них тюремной среде, осыпаемые заботами всей ссылки и даже тучами цветов, которых так много было в полях и на лугах Якутска и которые так приятно было нести к ним за тюремные решетки.

Во время пребывания романовцев в тюрьме, в мае 1904 г., произошло еще одно важное событие, потрясшее всю политическую ссылку. Под Нахтуйском, на пути следования к Олекминску, на паузке, везшей политическую партию, офицер конвоя хотел пройти ночью в отделение, где поме-

щались женщины. На пороге его встретил студент Минский, староста партии. и предложил немедленно удалиться. Офицер нахально пролагал себе дорогу, и был наповал убит тов. Минским. Открывший беспорядочную стрельбу конвой убил одного из политических ссыльных, тов. Каца, и ранил в ухо тов. Минского.

Ожидалось прибытие в Якутск партии тов. Минского и, как следовало ожидать, администрация желала тихонько высадить партию, не допустив демонстративной встречи партии ссыльными, и доставить тов. Минского непосредственно в тюрьму.

Предстояло обойти администрацию, и встретить партию во что бы то ни стало.

Заготовив красные флаги и предусмотрительно спрятав их по карманам, чтобы затем во-время навязать их на палки, мы поздно ночью группой человек в 20 вышли в поле к пустынному берегу Лены. Было еще очень холодно по ночам, и мы порядочно прозябли за долгие часы ночи, согреваясь у небольшого костра и весело проводя время за рассказами. шутками и остротами. В нашей среде были пришельцы из самых далеких улусов, ближайшая ссылка, славившаяся своими необычайно крепкими мускулами в тюремных стычках и уменьем одним махом вышибать двери камер при протестах и голодовках — Абрам Моисеевич Гинзбург, испытанный работник Бунда, Моисей Наумович Гальперин (Душкан), трое «резервистов-романовцев», как нас стали называть, и многие другие.

Расставленные на дороге часовые донесли на рассвете, что пароход с паузком на буксире показался уже на сравнительно-близком расстоянии. Сохраняя все предосторожности, мы продвинулись в разсыпную вперед и прилегли на берегу в ожидании парохода. На заре ясно обрисовался медленно подходящий пароход. Мы жадно впились глазами в паузок, на палубе которого одиноко маячили одна-две фигуры. То был такой же дозор, как и наши сторожевые посты. Через несколько минут, когда паузок был уже на близком расстоянии от берега, палуба наполнилась товарищами, окруженными строем солдат.

Мы быстро построились на берегу, выкинув свое знамя с рельефной надписью «долой самодержавие». Раздались взаимные приветствия, загремела «Варшавянка», подхваченная голосами на паузке. И только когда взошло яркое солнце, бросая снопы золота на неподвижную гладь реки, из города заспешил к нам навстречу отряд казаков с шашками наголо под предводительством полицеймейстера Березкина. Он, видимо, напрягал все силы, чтобы предотвратить нашу встречу с приехавшей партией.

Приблизившись к нам, рассмотрев воочию две приветствовавшие друг друга группы, сливавшиеся в одном протестующем гимне, полицеймейстер Березкин совершенно растерялся. Он пробовал кричать охрипшим от напряжения голосом: «Отдайте мне флаг!», «Прекратите пение!», «Я буду стрелять!», но голос его звучал беспомощно-жалко под гулом оживленного хора. Он протянул было руку, чтобы вырвать знамя, но отказался от этой попытки, ибо знамя было в очень надежных руках Абраама Моисеевича Гинзбурга, казавшегося гигантски-сильным по сравнению с обезумевшим от страха полицеймейстером. Фигура последнего являла самое смешное зрелище. Потерявший от страха голос, бледный до синевы, почти дрожавший за стеною сгрудившихся вокруг него ружей и штыков, он наступал, скорее готовый к отступлению, на группу невооруженных людей, забывших о всякой опасности в своем революционном порыве. Каким-то воплощением вооруженного до зубов самодержавия, колеблющегося на стальных штыках, казался нам этот трусливый ставленник власти, явившийся на борьбу с нами. И вдруг положение неожиданно обострилось. По какому-то знаку Берез-

кина конвой на паузке окружил группу наших товарищей, угрожающе направив на них ружья, взятые на прицел. Такой же угрожающий жест привел в движение ружья стоявших впереди нас казаков. Смертельно-бледный полицеймейстер едва выговаривал слова команды. Солнце ярко заблистало на засверкавших штыках и заставило меня невольно обернуться назад на нашу группу с мыслью о том, что я, может быть, вижу всех товарищей в последний раз.

Необычайно-яркое, незабываемое зрелище ударило меня по глазам. Залитая солнцем группа товарищей на пароходе, полная экстаза наша собственная группа, застывшая в боевой готовности встретить смерть с революционным гимном на устах,—все это было так необычайно красиво, что в мозгу моем невольно мелькнула странная мысль: если все мы погибнем, никто никогда не узнает,—как все это было бесконечно красиво.

Я оглянулась на полицеймейстера в тот момент, когда он внезапно повернул свою армию назад, сделав знак пароходу об отплытии назад. Он придумал в последнюю минуту обходное движение и направил пароход, минуя пристань, к другому пункту, куда поспешили и мы, встретив партию уже на пути к нашим квартирам. Товарища Минского ожидала достойная встреча со стороны романовцев в тюрьме.

Через несколько месяцев, в августе, разыграна была при закрытых дверях комедия суда над романовцами. Наиболее яркими моментами встают в моей памяти об'яснения на суде вице-губернатора Чаплина, сетовавшего на осложнения в работе администрации со стороны беспокойного сомнища ссыльных; выразительное, глубокое и полное сдержанного чувства показание Виктора Константиновича Курнатовского, прервавшего свою речь из-за замечания, сделанного ему председателем суда, и необычайно ярко построенная, полная содержания речь защитника Александра Сергеевича Зарудного. Обрисовав всю обстановку жизни политической ссылки, вскрыв общественно-революционную сущность протеста, А. С. Зарудный закончил заявлением о присоединении своей подписи к тем 42-м подписям, которые были даны романовцами в обращенном к администрации протесте.

Приговор был предрешен заранее и обрекал 45 романовцев к 12-ти-летнему сроку каторжных работ. Л. Л. Никифорову назначен был один год арестантских рот, С. В. Померанец, я и Виленкин были оправданы.

Перед романовцами открывалась новая страница борьбы на каторге, оправданных ждала живая революционная борьба в России. Еще несколько недель совместного пути до Иркутска связывали нас всех воедино..

Необычайная революционная готовность, воля к победе, хотя бы через смерть, отличавшая эту первую баррикаду, воздвигнутую в далекой Сибири, не может ослабнуть в революционных рядах до конечных баррикад на развалинах мирового империализма.

М. С. Зеликман.

„РОМАНОВЦЫ“.

Участники „Романовской истории“ 1904 года.
(Снимок в Якутской тюрьме).

Юрий Матлахов.
Убит как участник дела „Романовцев“.
Юрий Матлахов рабочий из Одессы.

„РОМАНОВЦЫ“ по пути в Якутский Окружной Суд.
(Снимки предоставлены О. Г. Смидович). *(К статье М. Зеликман).*

Туккумское восстание.

(Из воспоминаний участника).

I.

Начало действий.

Во всей истории нашей местной организации не помню я времени более сильного напряжения энергии, чем это было весной 1905 г. Организация новых ячеек и агитация среди сельско-хозяйственных рабочих, направленная против помещиков-баронов,—вот были два главных лозунга дня. Центральной темой агитации была японская война, и наши речи воспринимались с доверием. Где сегодня самое рабское подчинение помещику, там завтра забастовка и открытое требование 8-ми-часового рабочего дня. Но,—росли наши ряды, росли и ряды противника. Местное баронство выписывало донских и уральских казаков, ингушей и чеченцев для охраны своего веками награбленного добра, не жалея колоссальных сумм, которые стоило их содержание. Прибывшие казаки были разбросаны по всему уезду, даже губернии, и для нашей организации открылось опять широкое поле агитации. И когда «донцы» стали ненадежными, бароны выписывали «уральцев», потом ингушей и чеченцев. Но наша агитация разлагала всех без исключения. В виду этих блестящих для нас результатов некоторые более дальновидные из баронов, собрав свой капитал, предпочли даже удирать «нах фатерланд», т. е. в Германию.

Гроза народной мести надвигалась все-таки медленно, шаг за шагом. Но рабы уже проснулись. Нужен был только толчек, и все сельско-хозяйственные рабочие сбросили бы с себя вековечные цепи. Мирные вначале забастовки все более и более превращались в активные выступления. То и дело разрушались телефонные сети, мосты и даже железные дороги. Охранители-донцы и чеченцы ходили на наши митинги и открыто выявляли злобу против господ охраняемых. Но помещики, получая поддержку от царского правительства, все-таки решили бороться до конца, и скоро наемные телохранители были заменены драгунами регулярных воинских частей. На каждого помещика полагалось 20 человек драгун, которыми командовал офицер-барончик. В первое время казалось, что бароны добились своего. Но нет. И драгуны привыкли смотреть иначе на рабочих. Так продолжалось до манифеста 17-го октября. Манифест, провозгласивший свободу, явился громоотводом в насыщенной атмосфере рабочего недовольства. Мы свободно собирались на митинги-массовки, свободно говорили там, а уже на обратном пути драгуны нас лупили нагайками,—все это лишний раз подтверждало, что свобода без вооруженной борьбы невозможна.

Работа наша приняла более серьезный уклон. Конфискация, экспроприация оружия стала вопросом дня. Всевозможными путями увеличивали запасы оружия, которое состояло, впрочем, преимущественно из дробовиков и бер-

данок. Вооруженных столкновений пока избегали. Только прислушивались, как на все реагируют массы. Соблюдать планомерность в действиях не было уже никакой возможности: недовольство крестьян достигало своего кульминационного пункта.

Нахальство и кровожадность уездного начальника барона Радена стали беспредельными. Оставалось выбирать одно из двух: или убить барона Радена, дабы умерить пыль зарвавшегося баронства, или же вступить в открытую борьбу с местными войсковыми частями. Стремясь предотвратить массовое кровопролите, наша организация предпочла первое. Десятка полтора вооруженных товарищей засели в складе сельско-хозяйственного товарищества, шагах в двустах от дороги, ведущей из имения Дурбе в Туккум, по которой каждое утро, около 10-ти часов, проезжал барон Раден в сопровождении семи драгун. Каменный дом, в котором засели товарищи-исполнители долга, с внутренней стороны хорошо забаррикадированный мешками с искусственным удобрением, был как бы маленькой крепостью. При появлении на дороге барона Радена верхом на белой лошади раздалось несколько выстрелов из винчестеров; с другой стороны дороги, где расположены домики рабочих и мелких железнодорожных служащих, из домика Нэльке также был открыт огонь из дробовиков.

Покушение не удалось, сопровождавшие барона Радена драгуны начали кровавую борьбу с дружинниками, засевшими в доме Нэльке, уложив почти всех на месте. Тем временем группа, засевшая в складе сельско-хозяйственного товарищества, прикрываясь железнодорожной насыпью, успела отступить в город.

Сигнал был дан. Первое неудавшееся покушение на Радена, повлекшее за собою потерю нескольких товарищей, показало, что необходимо не убийство отдельных лиц, а массовая вооруженная борьба.

II.

На перевязочном пункте.

Среда. Полицейские власти арестованы. Арестован также и шпик «Абрамка». Город во власти повстанцев, вместо ожидаемого хаоса, самый образцовый порядок, даже весь уголовный элемент куда-то припрятался.

Санитарная часть во главе с двумя врачами добросовестно работала, перевязывая раненых. Двое товарищей принесли раненого в ногу драгуна. Широко раскрытые перепуганные глаза человека в серой шинели.

— Я жить хочу. Не убивайте... Дома жена и дети...

Вместо ожидаемых ужасов, заботливая перевязка раны и стакан горячего чаю... Глубокий взгляд благодарности, брошенный на присутствующих, и раненый заплакал:

— Нас обманывают!..

III.

Ночь после первого боя.

Декабрьская ночь своими сумерками охватывает город. Тишина. Лишь где-то далеко замирают шаги патрулирующих повстанцев.

С минуты на минуту ожидается новая решительная схватка между повстанцами и частями царских войск, которые должны прибыть из Яунпилс и Деголэ.

Живая связь повстанческого отряда из главного штаба — дома латышского общества, в котором происходит набивка патронов и распределение оружия,—усиленно разносит снаряжение бойцам, засевшим на баррикадных укреплениях.

Проверяются посты. На углу Большой и Садовой улиц встречаю тов. Тerауда (Рыжего). Друг другу вкратце сообщаем о положении и прощаемся... навсегда.

Базарная площадь. На только что выпавшем снегу лежит убитый враг. Руки распростерты... Серая шинель окровавлена...

Жутко!.. Невольно рождается вопрос: виноват-ли он?

— Пароль!—вдруг раздается строгий оклик.

Узнаю голос тов. Фрейберга (Жоржа), который снабжает меня двумя берданочными патронами с предупреждением беречь—зря не израсходовать, и быть наготове к завтрашнему дню.

Опять я один, и опять та же жуть тишины... Ночной ветерок уносит клочек какой-то деловой бумаги с разгромленного полицейского управления или тюремного архива.

IV.

Драгуны укрепляются.

Четверг. В постоялом дворе, рядом со складом Фридлендера, какая-то необыкновенная суматоха. Из склада выносятся мешки суперфосфата, ящики с мылом и прочий более тяжелый товар. На первый взгляд можно подумать, что торговый магазин Фридлендера переезжает. Но нет: это строятся баррикады. Драгуны под руководством двух офицеров—выходцев из местного баронства—решили не сдаваться, а выиграть время постройкой этой «укрепленной рамы», как говорили наши дружинники.

Десять часов. Мирные переговоры отвергнуты. Бой неизбежен. С одной стороны отряд хорошо вооруженных и обученных драгун под руководством полковника Мюллера и двух младших офицеров, а с другой—революционное сознание и мозолистая рука рабочего, вооруженного чем попало. (Было несколько дробовиков, но преобладали вилы и косы).

Бочки с керосином... Сигнал... Яркое пламя огня и черное облако дыма... Гробовое молчание с обеих сторон. Еще минута и—захохотали дробовики дружинников и винтовки драгун диким смертоносным хохотом...

Из драгун спаслись немногие. Полковник Мюллер пал в бою.

Победители-друженники заменяли свои дробовики винтовками, перевязывали раненых товарищей и убирали убитых врагов при свете ярко пылающих конюшен драгун, около которых усердно работала туккумская пожарная команда под руководством своего шефа Ильсуна.

V.

Дочь столяра.

Заезжие ворота закрыты. К косяку чуть притворенной калитки неподвижно прислонилась стройная фигура 18-ти-летней девушки. Ее глаза упорно сверлят ночную темноту, ухо чутко прислушивается к малейшему шороху на улице.

Как кинематографическая фильма, перед ее глазами мысленно проходят: раненый брат, убитые товарищи, и тонкие пальцы правой руки инстинктивно сжимають ручку браунинга и уста произносят решение: борьба до конца, до победы.

Из-за поворота улицы, тихо, чуть слышно выплывают несколько всадников. Потом в повозке — потомки феодальных рыцарей в сопровождении своих телохранителей-чеченцев.

— Еще рано,—чуть слышно, с иронической улыбкой на устах, произносит девушка.

Опять всадники в серых шинелях: один, два... тринадцать... тридцать четыре... Сорок три.

— Все!—произносит девушка, и прицеливается в последнего, который только что поравнялся с калиткой.

Один за другим последовали три выстрела... нежные, чистые и родные, как звуки колыбельной песни...

Сейчас же, вслед за выстрелами девушки, с обоих сторон улицы заговорили дробовики и берданки. А в ответ — резкая трескотня винтовок.

Умирающие люди и раненые лошади, опрокинутые и разломанные повозки — все, что осталось через несколько минут на месте боя. Отряд всадников с полицейскими, на голову разбитый, в панике бежал. Туккумские революционеры были вполне довольны исходом боя. Выпуская последнюю пулю в догонку удирающим вассалам,—была также довольна собой молодая девушка.

Она удачно исполнила свое задание, свой долг, вполне заменила раненого в предыдущей схватке брата.

VI.

Два брата.

Городское училище. Парадный ход, лестница и окна заняты рабочими и батраками ближайших волостей, которые из своих дробовиков открывают интенсивный огонь по убегающим из города драгунам.

У одного окна разметились братья Бракманы. Старший из охотничьего ружья стреляет по драгунам, младший подает патроны. Ружье только одно.

Звон разбитого стекла... Ружье падает на пол, и высокая фигура старшего Бракмана медленно спускается, оставляя на подоконнике струю алой крови.

Нисколько не теряясь, хладнокровно, младший Бракман берет свободный дробовик и становится на место своего брата, отдавшего все за первый луч восходящего солнца свободы.

VII.

Озверевшие вассалы.

«Пусть враг терзает наше тело,
Мы кончим начатое дело».

Пятница. В полутора верстах от гор. Туккума, в тени столетних деревьев виднеется имение Дурбе, достояние одного из потомков бременских торгашей, барона Рекке. Имение построено на краю оврага, через который перекинут воздушный мост—продукт рук рабочих времени не так еще далекого рабства,—с обеих сторон охраняемый громадными каменными львами, символом бывшего рыцарства.

Имеются определенные сведения, что, кроме семейств баронов Рекке, Радека, Ливена и Витингофа, в Дурбе собираются остатки разбитых драгунских и полицейских частей, не исключая и шпиков «Янпетера», «Абрамки»; обсуждается план нового кровопролития, новых убийств рабочих и крестьян. Кругом выставлена бдительная стража из ингушей и чеченцев.

Двое молодых людей в серых крестьянских пиджаках, вооруженные дробовиками, осторожно приближаются к имению Дурбе: это разведчики дружинников—Глазенап и Каненберг. Цель их разведки—выяснить, каким путем удобнее окружить и взять это гнездо извергов...

. . . .

. . . .

Что перестрадали эти мученики, взятые в плен, знают лишь немые стены гостинного зала имения Дурбе.

Суббота. Воронье с каким-то необыкновенным карканьем парит в воздухе над полем, примыкающем к имению Дурбе, и садится на замученные тела Глазенапа и Каненберга...

. . . .

Крестьянская повозка в сопровождении нескольких пожилых крестьян приближается к трупам героев. Полураздетые, изуродованные до неузнаваемости, свидетельствуют они о «гуманности» тех, к кому они попали в руки...

Передняя дверь лютеранской церкви открыта. Вокруг алтаря и по обеим сторонами прохода рядами положены трупы убитых рабочих и крестьян. На некоторых положены даже небольшие записочки с фамилией убитого. Жены ищут мужей, родители—сыновей...

На правой стороне, рядом с трупом 60-летней старушки, нахожу тов. Тераудa. Часть челюсти отрублена шашкой, черты застывшего, обросшего рыжей бородкой лица спокойны...

Я вспоминаю его слова, сказанные мне два года тому назад, когда я отнесся к нему с подозрением, несмотря на записку тов. Вейнберга, с которой он пришел тогда ко мне за литературой:

— Не все рыжие бывают предателями,—и вдруг мне стало так больно и совестно за самого себя. Я пожал его холодную руку и оставил на его груди записку с его фамилией...

Заключение мира.

Наконец, заключен мир. Принято: с обеих сторон прекратить перестрелку; впустить в город прибывшую часть драгун, все засевшие в баррикадных укреплениях остаются временно на своих местах. Только с наступлением темноты повстанцы маленькими группами и по одиночке, не бросая оружия, оставляют город.

Мы попали в ловушку. В то время, как новоприбывшие части улан держали себя в городе миролюбиво, бароны Реке и Раден с остатками драгун начали зверскую расправу на окраинах города, производя неслыханные грабежи и убийства и поджигая домики рабочих. Жертвами пирующих бандитов падали не только взрослые, но и старики и дети. Все дороги охранялись заградительными отрядами. Всех отступающих по дорогам ловили и убивали на месте. Так между множеством других были убиты т.т. Дзелзсгаль, Вейс и

Бейзас. Единственным безопасным путем отступления оказался лес («Путныньмежс»), примыкавший к восточной стороне города.

Все знали, что восстание проиграно. Оставалось для повстанцев только одно: исчезнуть. Многие члены туккумской организации, во время восстания легализировавшие себя, сейчас были принуждены немедленно покинуть город. Десятки профессионалов с началом бешенной реакции сделались «лесными братьями». Некоторые эмигрировали. Хуже обстояло с теми членами организации и участниками восстания, которые происходили из местных крестьян и рабочих и были принуждены с семьями остаться на месте. Пошли аресты и расстрелы без суда и следствия. Такие же местные рабочие и крестьяне явились участниками громкого процесса о туккумском восстании 76-ти в 1907 году, на котором 17 человек было приговорено к расстрелу.

К. П. Берзин (Ласиц).

Революционная работа в войсках [1)]

В казарме.

В ноябрьское утро 1906 года в казарме 1-й батареи 2-й артиллерийской бригады, в городе Беле, собрался почти весь офицерский штат бригады произвести разбивку прибывшей накануне ночью партии новобранцев, в числе коих был и пишущий эти строки.

Беспокойно вглядывались мы в лица офицеров, пугливо воспринимали окружающую обстановку и то, что было ее содержанием; мысль никак не мирилась с обстоятельством, вынуждавшим нас отдать лучшую пору молодости служению Молоху, знакомству с его жрецами и наукой и, быть может, искусством уничтожать себе подобных.

Но жизнь, действительность того времени врывалась во все поры народного быта, не исключая и казармы. Один из офицеров, непосредственно приступивший к разбивке, громко приказал старшему: «Евреев отделить, остальных вызывай по алфавиту».

С общей массой вновь прибывших скоро было покончено: все оказались на-лицо; после опроса о семейном положении, профессии, грамотности и проч. каждому названа была батарея, в которой он будет служить. После этого тот же офицер обратился к стоявшей в стороне группе евреев:

— Ну-с, подойти ближе. А скажите, ребята, кто из вас бундовец?

Ошарашенные этим вопросом, никто из нас, разумеется, не отвечал, только на лице кое у кого заиграла хитрая улыбка, как бы говорившая: ого! чего захотело его высокоблагородие.

Офицер, сам сдерживая улыбку, приблизился вплотную к улыбавшимся, но продолжавшим молчать:

— Что же, бундовцев нет среди вас? А «искровцев»?

Молчание.

— Тогда большевики... Кто из вас большевик?

Молчание.

— Вы молчите, а что у вас в голове, то я знаю; ты где жил до сих пор?— обращается он ко мне.

— В Одессе.

— Ну, вот, вот, слышите, господа офицеры, он жил в Одессе. Разве там нет Бунда?—вновь спрашивает он меня.

— Есть.

— А «искровцы»?

Я решаю сразу удовлетворить любопытство офицера, и выпаливаю:

---

1) Автор очерка осужден по большому процессу артиллеристов Варшавского военного округа в феврале 1909 года на 8 лет каторги.—*Ред.*

— Есть и Бунд, и искровцы, и большевики, и анархисты, и монархисты...

— И монархисты?

Мой ответ привлекает внимание присутствующих, которые ближе подходят к нашей группе и принимаются, что называется, изучать наши физиономии, как бы читая в них отражения событий последнего года.

Между тем, все тот же офицер, как оказалось потом, командир 1-й батареи, грузинский князь с благозвучной фамилией Максименшвилли, жизнерадостный брюнет лет сорока, вивёр и душа общества, разражается по адресу все той же злосчастной, с места в карьер взятой под подозрение в политической неблагонадежности, группы новобранцев целой филиппикой политико-социального содержания:

«...Убеждения — вещь хорошая, свойственны каждому человеку и начальством отнюдь не возбраняются. Паче таковые окажутся у кого-нибудь из вас, начальство, если их и не станет приветствовать, то и препятствовать не будет, при том, однако, непременном условии, чтобы носитель этих убеждений,—разумеется, революционных,—не вздумал их применять в жизни... Все мы, здесь присутствующие, являемся членами одной тесной семьи, возглавляемой государем и призванной верой и правдой служить ему и отечеству... словом, убеждения имей, а делай то, что прикажут».

Оратор кончил. Апплодисментов с нашей стороны не было. В офицерской группе началось движение, процедура приемки и разбивки закончена, и нас направляют по батареям.

Когда я вышел на улицу, первой мыслью было: а знают-ли уже здесь, что за мною следуют бумаги жандармского управления о моей политической неблагонадежности? Во всяком случае, нужно быть на чеку в первое время. С этой мыслью я вступил на военную службу.

Был отвратительный пасмурный осенний день, на душу легла какая-то тяжесть. Уже собираясь на службу, я томился предчувствием, что, вступая в этот новый неведомый мне мир, о нормальной службе и возврате в свое время в родную среду, не может быть речи. Забыться, вырвать из сознания на время бушующую обстановку общественной жизни, нет,—это было немыслимо. Но и охватить, ясно представить себе бытие казармы также невозможно было. То, что я встретил в первый день, не предвещало ничего хорошего. И фантазия рисовала жизнь, проходящую под бдительным оком наблюдателей шпиков.

Только к вечеру я перезнакомился с низшим моим начальством, в распоряжение коего я был отдан на предмет прохождения всяческих наук и муштровки в том числе.

Последним впечатлением этого дня было следующее: когда я, перед сном, укладывая свои вещи, приводил в порядок имевшиеся у меня книги, последними заинтересовался непосредственный мой дядька, унтер-офицер Королев, который, после осмотра, не по службе, а из любопытства, моих книг, спросил меня:

— А «марсельезы» вы знаете?..

Ровно через 10 месяцев мы оба за эти самые «марсельезы» кормили клопов в местной гнусной тюрьмишке, описанной И. П. Ворonицыным в его книге: «У немцев».

На другой день началась серая, скучная, полная жвачки и муштровки жизнь новобранца, не представляющая интереса для моего рассказа, однако, давшая мне возможность приспособиться к ней и создать тот минимум условий, при которых окажется возможным в этой новой для меня среде заполнить жизнь интересами, которыми и для которых я жил в гражданской жизни.

Тут уместно будет сказать два слова о тогдашнем времени вообще. Я пришел в казарму эс-деком, принадлежал к той группировке социал-демократии, которая после поражения революции 5-го года мыслила дальнейшую работу в подготовке пролетарских масс к массовому восстанию; при малочисленности авангарда рабочего класса, восстание может быть победоносным при поддержке, хотя бы и пассивной, солдатских масс. 5-й и 6-й годы показали, с одной стороны, что инициатива должна исходить от пролетариата (октябрьская забастовка, московское восстание), который победит с помощью обращенных к врагу штыков солдат, а с другой стороны, что всякие сепаратные выступления военных заранее обречены на неудачу. Брестское и другие солдатские восстания ясно показали, что военное восстание, в силу замкнутости среды, в которой восставшие живут до выступления, и отсутствия связи с широкими массами гражданского населения,—уже в самый момент удачи оказывается изолированным и быстро переходит просто в «бунт», легко локализуемый начальством. Я не разделял мнения некоторых революционных группировок, особенно распространенного в военной среде, что удачное военное восстание может увлечь широкие народные массы и привести к победе революции. Поэтому я в своей работе все время ставил себе следующие задачи: широко развить агитацию в войсках на почве тех общественных интересов, которыми полна была жизнь (стачки, 2-ая Дума), пропогандируя эс-дековскую программу минимум, привлекая внимание солдат к борьбе социал-демократии с царизмом, вовлекая их в эту борьбу под тем единственным углом зрения, что нашей задачей, нашей ролью в этой борьбе является активное, а где невозможно, то обязательно пассивное, содействие всякому революционному выступлению пролетариата, с полным подчинением его руководящим революционным органам. В правильности такой постановки работы меня убеждало и то обстоятельство, что, имея дело с крестьянской массой средней полосы России, чувствовавшей себя среди местного польского и еврейского населения как бы в чужой стране, к тому же воспитываемой начальством в антагонизме к окружающей среде,—в этой массе более широких революционных задач в повседневной работе ставить нельзя было.

Учитывая, что всякая успешная агитация мыслима на почве освещения чисто экономических интересов данной среды, связывая затем уже экономику с политикой, мне счастливо удалось создать такую, как теперь назвали бы, агитячейку, которая с успехом выполняла эту задачу вплоть до самого провала всей организации. В этой работе мы, группа солдат, не пользовались ничьей помощью, так как в этом глухом уголке польской провинции имевшиеся в миниатюре организации Бунда и П. П. С. в работе среди русских солдат ничем помочь нам не могли. Просто материальных средств у них не было, да и нам они не нужны были. Литературу мы сами подбирали нужную. Личный состав, таким образом, был чисто солдатский.

Хотя, как я говорил выше, первые два месяца учебы протекали в замкнутой обстановке, под бдительным оком начальства из нижних чинов в роли обучающих и муштрующих,—хотя это время я исключительно созерцал и изучал обстановку, активно пока ничего не делая, все же из созерцания и изучения меня быстро вывела сама жизнь. Дело в том, что в 6-м году не просто обучали нас военному делу, но, согласно приказа свыше, в виде противоядия революционному брожению, проникшему и в казармы, офицерство получило задание «загнать» нам и умственную муштровку, обработать наши головы так. чтобы выжить оттуда всякую мысль, идущую в разрез с программой «Союза русского народа».

Так, обычно на уроках словесности два-три раза в неделю с нами занимались и «политикой».

Офицер ставил на разрешение тот или иной вопрос, интересовавший тогда общественность, и тут же разрешал его быстро и безапелляционно, по военному, при чем всегда к вящему прославлению самодержавия и с повержением во прах врагов его, социалистов (жиды, поляки и революционеры). К чести молодых офицеров нужно сказать, что преподавание это велось большей частью старшими офицерами, начиная с капитанов и выше.

Начало этой настоящей агитации я как-то прозевал. Дело в том, что меня, после первых недель, когда я «произошел» все премудрости тогдашней классической военной словесности, освободили от занятий по словесности, и я обычно уходил куда-нибудь во время урока. Оставшись как-то раз незамеченным в казарме, я наслушался таких вещей от преподавателя, на этот раз командира батареи, случайно лично занимавшегося с новобранцами, что тут же решил приступить к делу постановки другой агитации.

К тому времени я тесно сошелся уже с унтер-офицерским составом своей батареи и с них-то и решил начать, ибо, как и во всяком военном деле, именно эта группа является единственным и лучшим проводником в близко-поставленные к ним массы солдат всех предначертаний начальства: они наиболее развиты, пользуются сравнительно большей независимостью и, как моя практика показала, лучше воспринимали идеи и интересы революционного движения. Тут, кстати, уместно будет указать на тот небезинтересный факт, что в нашем процессе в числе свыше 20-ти солдат одной только моей бригады я один был призыва последнего года. Все же остальные были старые солдаты, в большинстве феерверкеры и вицы (ефрейтеры и унтер-офицеры в пехоте) до фельдфебеля учебной команды включительно.

С помощью того самого дядьки своего, Королева, которого интересовало, знаю-ли я «марсельезы», я связался с публикой других батарей и бригадными фельдшерами; среди последних я встретил преданнейшего делу революционной пропаганды товарища, старшего фельдшера Николая Николаевича Чумакова, с которым до самого ареста мы совместно вели работу, при чем ему выпало на долю быть душою нашей сперва кружковой, затем массовой работы. О нем, кристаллически честном, за несколько месяцев до окончания службы с головой и сердцем ушедшем в работу товарище-друге, погибшем в царском каторжном застенке (в Бутырках), читатель найдет несколько строк в отделе «Лики отошедших» следующ. сборника. Тут я еще прибавлю, что и сейчас не могу себе представить без него ту сравнительно большую работу, которую мы проделали сообща в какие-нибудь 5—6 месяцев.

После нескольких встреч с более интересными солдатами я и Чумаков выделили из них кружок в 6—8 человек, с которыми и приступили к делу. Так как прошло с того времени 17 лет, я сейчас могу вспомнить фамилии только наиболее выделявшихся по своей революционности и своему развитию; это были: фельдфебель бригадной учебной команды Синицын, унтер-офицер 7-й батареи, где я служил,—Королев, унтер-офицер 2-й батареи—Исаев, и другие.

Первое организационное собрание, после долгих поисков квартиры, состоялось в апреле месяце. На этом собрании мы поставили вопрос о необходимости наладить работу в бригаде так, чтобы, с одной стороны, шире охватить массу посредством устройства частых массовок, а с другой — наивозможно лучше законспирировать себя, дабы дольше удержаться. Но раньше, чем приступить к массовкам, мы решили подготовить из этого кружка агитационную группу, для чего первые несколько собраний посвятить всецело разбору вопросов злобы дня и на этой почве выдвинуть наиболее способных для дальнейшего проведения в массу солдат революционных идей.

Эти занятия у нас продолжались вплоть до выезда в лагерь, в течение 1½—2-х месяцев. Работа между мною и Чумаковым была разделена следу-

ющим образом: экономика, вернее, аграрный вопрос, живо интересовавший солдат, была его предметом, темой моих бесед с солдатами были вопросы политической борьбы с самодержавием.

Справедливость требует указать на характерный момент нашей тогда работы. Поскольку мы не ставили себе ближайшей задачей вызвать восстание ради восстания, а мыслили себе нашу задачу в революционизировании того кадра солдат, от которого в массовых революционных стычках с самодержавием в значительной степени зависело, в какую сторону будут обращены дула винтовок,—в нашей работе превалировал элемент пропаганды над агитацией с призывом к определенным действиям. Как я уже говорил выше, нам важно было, чтобы в критический момент, момент массового выступления, действие офицера, руководящего выведенными из казармы солдатами, встретило определенное пртиводействие у того кадра солдат, который в обыденной казарменной жизни является ближайшим учителем всей остальной массы. Разумеется, имей место в нашей практике массовое выступление,—в нашем-ли городе или в Варшаве, куда мы могли быть вызваны,—мы перешли бы от пропаганды к агитации за определенные действия. И в этом случае эти призывы, эти лозунги попадали бы на подготовленную почву. В этом смысле я и называю нашу работу вплоть до самого ареста пропагандой, расчитанной на определенные действия в эпоху общегражданских массовых выступлений.

С течением времени участники кружка, делясь с товарищами тем новым, что им давали занятия наши с ними, образовали вокруг себя довольно значительные, по количеству, группы в каждой батарее в отдельности, что им удалось и потому также, что к их голосу, голосу старых солдат, охотно прислушивалась масса; не видела в них специально посланных агитаторов, которые всегда отпугивали несходством своих внешних доспехов — рубашка, иногда шевелюра—с общей внешностью солдат.

Тут не малую роль играло то обстоятельство, что об'яснял, разбирал и так, а не иначе трактовал данный вопрос политики и экономики свой брат, солдат, однокашник, рядом с которым спишь, с которым обедаешь из одного бака и т. д. И говорил, об'яснял он на общем с массой языке, редко сдобренном новым книжным словцом, на языке чаще более образном и скорее проникающем в душу рабочего и крестьянина, чем наш городской, литературный язык.

В лагере.

До лагеря работа продолжалась в указанном выше порядке. И только там, в лагере, расположенном в лесу, после устройства в нем, после обычной сутолоки, связанной с походным маршем в лагерь и первыми днями по прибытии туда, когда все вошло в обычную колею и вновь началась учеба,—мы перешли к массовой работе, к устройству весьма частых, иной раз ежедневных массовок. По обстоятельствам места на этих массовках значительная аудитория присутствовать не могла, но, вместе с тем, пропущено было за время лагерного сбора не менее 100 с лишним человек.

Когда приступили к устройству этих массовок, первый камень преткновения, на который мы наткнулись, был вопрос о месте собрания.

Наш лагерь, в 7-ми верстах от Варшавы, при полустанке Рембертово, расположен был у опушки большого леса.

Одной стороной выходил он к жел.-дор. линии, а другой упирался об обширный, песком посыпанный артиллерийский полигон. За линией жел. дороги манил своей прохладой густой лес, где можно было найти не одно удобное конспиративное местечко для устройства массовки, но беда была в том, что этот лес в течение всего дня и, как говорили, по ночам охранялся перерезывавшим его вдоль и поперек патрулем под командой офицера.

Все наши попытки найти укромный уголок для собраний кончались тем, что откуда-то из-под земли выскакивал патруль и перерезывал нам путь, всегда принуждая нас вернуться немедленно в лагерь.

Дело в том, что начальство, учитывая переживаемое время и попытки вольных революционных организаций связаться с солдатской массой, принимало свои предохранительные меры. Гулять в лесу солдатам было запрещено. До рельсового пути нас никто не трогал. Но за чертой его, прилегавшей к лесу, а тем более в самом лесу арестовывали одиночек и группы солдат.

Помню, первая наша прогулка в лесу, имевшая целью найти для нас уголок, прошла для нас безнаказанно: мы случайно не натолкнулись на патруль. Вторая прогулка носила характер сбора трав, при чем на руках у нас был гербарий. Патруль на нас наскочил, и мы от него с трудом отделались. Настигнутые им, мы были награждены парой-другой крепких русских слов, грациозно вылетевших из уст его благородия. Мы были об'явлены арестованными, нас под командой отправили в лагерь, у границы которого, по знаку одного из солдат того же патруля, нам удалось упросить офицера оставить нас в покое. Мы убедились, что в лесу собираться мы не сможем, если не хотим итти на быстрый провал. Но требования снизу были настоятельны, и нужно было придумать кое-что другое. Выход был найден Чумаковым.

В его распоряжении, как старшего фельдшера, было несколько палаток. Он и решил групировать больных так, чтобы всегда иметь в своем распоряжении свободную палатку, которая могла бы служить местом собрания.

В этом было также и одно преимущество конспиративного свойства, а именно: начальство, бывшее все лето на стороже, все время искало крамолу вне лагерного расположения; мы же, собираясь в палатках, были, что называется под самым носом у него, а известно—что под самым носом, того и не видишь.

Сказано—сделано. Разумеется, в целях той же конспирации решено было собрания устраивать после вечерней проверки, когда, с одной стороны, легче ускользнуть из собственной палатки идущему на собрание, а с другой—в темноте пробирающиеся к околодку и в черте его получающие указания от дежурного патрулера, сами днем не могли бы найти место собрания. Все же на первых двух-трех собраниях присутствовало немного народа. С течением времени количество собиравшихся увеличилось, но не превышало 15—20, так как больше палатка не вмещала.

Собиралась публика по одиночке, входила в палатку и молча в темноте устраивалась на нарах, как бы для сна, и, редко зная друг друга лично, не видя своего соседа, тихо дожидалась пока приходили другие; когда палатка наполнялась народом, собрание обычно открывал Чумаков, об'являя тему данной сходки и первое слово брал себе. После него говорил я, менее знакомый слушателям, которого днем никто из них, пожалуй, и не узнал бы.

Оперируя доступными нам материалами из газет, ставили в порядок дня животрепещущие вопросы думских заседаний или обще-политические вопросы того времени. В течение 1—2 часов занимали публику, вызывая к концу сходки немало вопросов у аудитории, на которые дополнительно давали об'яснения.

Так прошел у нас лагерный сбор. Я не запомню, сколько таких массовок нам удалось провести, но что о них говорили в массе солдат, что они расшевелили, заставили думать—сомненья у нас тогда не было. И это видно было из того, что кое-что доходит до начальства. Хотя я и не был тогда в строю, находясь в командировке в том же лагерном расположении, мне рассказывали, что на вечерних проверках и утренних занятиях участились беседы командного состава с солдатами о крамоле. При этом часто слышалась нотка, призывавшая к выдаче, к сыску; говорилось солдатам, что не там

только, во вне, пустила свои щупальцы крамола, она здесь, среди нас, и ее нужно искоренить. И «братцы» призывались к искоренению.

Но настроение масс было таково, что, если начальство говорит об искоренении, то это его дело, а не солдат.

И мы спокойно, без всяких инцидентов продолжали работать.

В лагере находились специально призванные к борьбе с крамолой полевые жандармы. Их обязанность состояла в раз'ездах днем по лагерному расположению и вне его в поисках легального, подпольного.

Все подзрительное, встречавшееся ими, арестовывалось на предмет выяснения личности, причины нахождения на территории лагеря и т. д.

В распоряжении нашего корпуса находилось двое таких жандармов, из коих один, фамилию которого я забыл, живший рядом с моим бараком, добродушный парень, часто рассказывал мне про свою службу, знакомил с заданиями и инструкциями начальства по части сыска. Таким образом, я бывал в курсе всех его обязанностей и службы данного дня и принимал все меры предосторожности от случайного провала. Я убеждал его, что «враг» не среди нас, а вне нас, отвлекая его внимание от того, что происходило в ста шагах от него. Наконец, после одной услуги, оказанной мною ему—вызвал через штаб округа по телефону предмет его сердца (я был тогда телефонистом на центральной лагерной станции), он ввел меня в свой барак, угостил чаем и предложил пользоваться помещением в его отсутствии. Часто он не ночевал дома, а в бараке в полном беспорядке валялся всякий хлам из сбруй, седел, упряжи и проч. Под всем этим хламом не раз ночевала всякая нелегальщина, прятавшаяся туда мною по мере надобности.

Почти до конца лагерного сбора работа наша протекала вне связи с какой-либо гражданской революционной организацией.

Чувствуя бедность наших рессурсов, хотя бы даже литературных, мы пытались связаться с внешним миром, но безуспешно. Чужие в краю, мы никого не знали, и хотя я лично и имел кое-какие знакомства в Варшаве, мои поездки туда ничего не давали.

И вот, вдруг, совершенно случайно, потеряв уже всякую надежду связаться с внешним миром, мы встретились с группой офицеров в том же лагере, принадлежавших к Всероссийскому офицерскому революционному союзу. Это произошло вот как:

Как я упомянул уже, все время лагерного сбора служба моя состояла в дежурстве через день в телефонной будке, приеме и отправке телефонограмм. Это давало мне много свободного времени, которое я посвящал занятиям.

В телефонной будке, где находился аппарат, я часами просиживал за книгой. Когда бывало на линии портились провода, и требовался ремонт, я по телефону сообщал на полигон, доводя об этом до сведения офицера-техника, который уже распоряжался дальше или сам выезжал на линию исправить сеть.

Однажды, если не ошибаюсь, в конце августа, я отлучился с будки и, вернувшись, застал там молодого офицера, как оказалось, того самого техника, с которым часто говаривал по телефону.

Застал я его роющимся в моих книгах. Мы обменялись первым взглядом, изучающим друг друга.. Затем последовал следующий диалог:

— Зравствуйте,—сразу озадачил он меня совсем необычным приветствием, вместо «здорово».

— Здравствуйте,—отвечаю я ему, сознательно опуская «здравия желаю, в. б.».

— Это ваши книжки тут?

— Мои.

— Вы занимаетесь в свободное время?

— Да.

Молчание. Офицер завозился у аппарата на некоторое время. Затем, вновь обращаясь ко мне:

— Что-ж, делаете успехи в занятиях?

— Кое-какие.

Молчание.

— А вы не нуждаетесь-ли в книгах, что вас интересует, кроме занятия по предметам?

— Кое-какие книги нужны мне, да не найти их здесь,—ответил я.

Молчание. Затем:

— Могу вам предложить книги из моей библиотеки. Приходите ко мне домой.

Я согласился и получил его адрес.

Эта встреча и особенно расспросы в таком необычайном для взаимоотношений солдата и офицера тоне оставили по себе осадок недоговоренности. Впечатление было, что за этой беседой кроется что-то другое. Я знал из газет, что где-то что-то существует в офицерской среде, помню, даже прочел однажды в комаровском листке «Свет», что-де пластуны такие-то пригвождают к позорному столбу приславших им нелегальную литературу за печатью Революционного офицерского союза. Что-ж, рассуждал я, быть может, я встретил одного из членов этого союза. Но, с другой стороны, в той атмосфере сыска и безрезультатных попыток начальства открыть крамолу в лагере, в которой я жил, мне чудился организованный шпионаж, подлаживанием улавливающий нужные ему жертвы из среды солдат. Но должен сознаться, что располагающая внешность этого офицера, его обращение почему-то говорили за первое предположение. Я решил поделиться своими сомнениями с Чумаковым и совместно с ним решить, итти мне к офицеру на дом или нет...

В ближайшее воскресенье я к назначенному времени вошел в квартиру офицера, где меня встретил вестовой.

Не без волнения, впервые за время службы, вхожу я в обитель, занимаемую представителем другой расы, другой кости, которого обычно отделяла от нашего солдатского быта высокая стена.

Вхожу туда по делам далеко не служебным и, прежде всего, с целью выяснить себе, как по обстановке, так и по приему, который мне окажут, не обмануло-ли меня чутье, говорившее при первой встрече, что я имею дело с одним из той офицерской молодежи, которая в то время в лице лучших своих представителей преданно служила интересам революционного движения.

Комната, в которой я оказался, по убранству скорее походила на студенческую, чем на офицерскую квартиру. Скромная меблировка состояла из двух кроватей, кушетки, стола, с несколькими стульями и этажеркой, заваленной книгами.

— Демократично,—мелькнуло у меня.

В другом конце комнаты сидел у окна совсем юный офицер с книгой в руках, по формату которой я сейчас определил, что это должен быть ежемесячный журнал (с.-д. большевиков) «Правда», что и оправдалось впоследствии.

Хозяин, подпоручик конной артиллерии Е. П. Калинин, приветливо улыбаясь и подавая мне руку (это в царской-то армии), приветствовал меня.

— Здравствуйте. Будьте гостем.

Затем, указывая на своего товарища:

— Будьте знакомы. Подпоручик Паньков.

Прием оказал свое действие. Не будучи новичком в подпольном мире, я в первую минуту почуял, что попал, куда следует; что имею дело с публикой, нужной мне, которой и я нужен.

Мы вступили в беседу, в которой первое слово признания я все же считал за ними, а до того решил держаться осторожно.

После первых расспросов об интересующей меня литературе и моих ответов, которые, видно было, всего меньше их интересовали, Калинин прямо приступил к делу.

Стал интересоваться, что читают солдаты, чем интересуются. Спросил мое мнение относительно той периодической оффициальной литературы, которой начальство забрасывало казармы с целью борьбы с революционными идеями. На все эти наводящие вопросы я отвечал до того осторожно, что это, наконец, надоело ему. Обращаясь ко мне, он решительно сказал:

— Однако, нам пора кончить эту канитель. Меня или нас обоих с моим товарищем всего менее интересуют такие вещи, как то, что вы читаете или намерены читать; всего большего интересует, что читает солдатская масса и как сделать так, чтобы она читала нужное.

И вдруг:

— Разрешите еще раз представиться. Члены Всероссийского революционного офицерского союза, ведущую революционную пропаганду в войсках. Теперь нам легче будет продолжать. Что у вас делается в отношении пропаганды, и чем мы могли бы вам помочь. Нельзя-ли связаться с вашей бригадой на предмет постановки в ней солдатской организации.

Я также открыто, без всяких колебаний, рассказал им, что вот уже месяца 3—4 веду работу в своей бригаде, довольно успешно, что то, что им чудится, как необходимость, у нас уже на-лицо, что при желании можно в этом убедиться на деле.

Узнав от меня, что работа ведется не мною одним, а совместно еще кое-кем, было условлено, что в ближайшее воскресенье я приду к ним с Чумаковым для более подробной беседы и, быть может, договоримся относительно дальнейшего.

После моего доклада в их глазах я прочел удивление, разбавленное достаточной дозой сомнения на счет правдивости об'ема рассказанного мною. В следующий раз я пришел к ним с Чумаковым и вслед за совершенно непринужденной на этот раз уже беседой и взаимной информацией, решено было, что мы в дальнейшем свяжемся с союзом для координирования работ, для чего, в виду предстоящего раз'езда на зимние квартиры, мы оставшееся время используем для ознакомления распропагандированных нами солдат с представителя союза, которые выступят перед ними. Затем условимся держать связь, находясь в разных местах.

После первого обмена мнений нам стало ясно, что имеем дело с эс-эровской публикой, хотя и выступающей перед нами, как члены внепартийной организации, но эта внепартийность требуется для привлечения более широкого кадра офицеров в союз, для которых (офицеров) слово социализм было пугалом. Союз поэтому должен был об'единять, повидимому, настроенную против существующей политической системы публику, отнюдь не связывая ее с определенной социалистической программой.

Лозунги союза взяты были из эс-эровского-народнического арсенала. Напротив, для масс, которых слово социализм не пугало, существовала тогда, так называемая, «Внепартийная социалистическая военно-революционная организация», о существовании которой я узнал от офицеров. Формально мы в эту организацию не входили.

Для нашей общей работы указанные здесь обстоятельства помехой служить не могли, ибо на $^{9}/_{10}$ она была чисто политическая, упиравшаяся на лозунг учредительного собрания, которое все и вся устроит.

О жизни и деятельности офицерского союза мне, в виду малого знакомства с ним, больше говорить не приходится. Это сделает, если еще не сделал, кто-нибудь из организаторов и участников его.

Желание офицера выступить на ближайшей нашей массовке мы было сразу думали реализовать. Но наши собрания происходили в ночное время и в районе расположения нашей бригады, и участие его в этом собрании не имело бы желанного эффекта; решено было, что тут же, в квартире Калинина, мы созовем наш первоначальный кружок, в котором будут представлены все батарей.

Назначен был день собрания. Своей публике мы ничего не говорили, где будет оно и при чьем участии. Помню, в условленный час мы группами в 2—3 человека отправились в путь (квартира офицера была 3-х верстах от нашего лагеря). Никто, кроме меня и Чумакова, не знал, куда мы идем и зачем. Недалеко от офицерской квартиры мы остановились, и Чумаков об'явил публике цель нашей прогулки и, шутя скомандовал:

— Гуськом, по одному, равнение на К. с дистанцией в 15—20 шагов, ма-а-арш!

Я вошел первый к Калинину и застал там одного только вестового, об'явившего мне самым официальным тоном, что его благородие приказало ему принять пришедших, поместить их в ванной комнате, а по приходе всех дать ему знать. За мною по одному входили остальные с Чумаковым во хвосте, и когда все разместились кое-как в ванной, вестовой отлучился за своим начальством, а мы с Чумаковым принялись за подготовку публики к встрече.

Задача была нелегкая. В умах этого десятка старых солдат, за всю свою службу редко слышавших ласковое слово офицера, никак не укладывалась мысль, что вот вдруг они окажутся свидетелями чего-то необыкновенного, из ряда вон выходящего, с чем никак сознание мириться не может. До этого дня офицер в их глазах,—это был другой мир, чуждый их жизни и интересам, отделенный китайской стеной. И вот сейчас эта стена рухнет, и им будет протянута рука для пожатия, крепкого, товарищеского, означающего отныне братский союз во имя идеи свободы, во имя борьбы за землю для крестьян, за права и лучшую жизнь для рабочих.

Замирало сердце. Жутко-радостно было на душе. От напряжения мысли и непривычных чувств у братвы пот выступил на лбу, покрыл все тело, влагой оросил руки.

К крыльцу под'ехал верхом офицер.

— Ну, ребята,—говорит Чумаков,—не робей, при входе его благородия не вставай, руку подаст, смотри у меня — экзамен на равенство выдержи... Эх, беда с вами,—махнул рукой с добродушной улыбкой наш общий любимец и повернулся к дверям.

Я пошел навстречу тов.-офицеру и об'явил ему, что все в сборе.

Сбросив с себя выходной сюртук, он облачился в домашнюю куртку с золотыми погонами и направился за мною.

У дверей ванной, где потела публика, я, открыв ее, пропустил вперед офицера.

Тррах! Как только он показался в дверях, ноги заволновались, зашаркали, задвигались, и дюжина здоровяков, все с нашивками, на которых печать служебного чинопочитания наложила свою тяжелую пяту, как бы под командой выпрямилась и стоя встретила «врага»—друга-товарища.

Последний быстро прошел вперед, поочередно подавая руку каждому, и, чтобы сразу уничтожить замешательство, тут же уселся в кругу солдат и немедленно заговорил.

Речь его, довольно продолжительная, была подкупающе искрення, проникала в душу. Он говорил с огоньком.

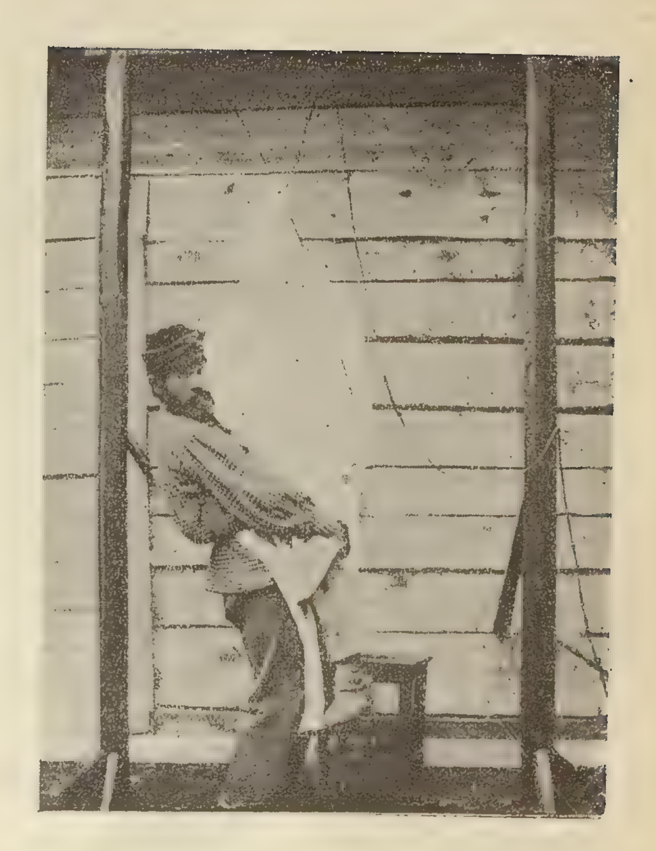
Исполнение смертной казни через повешение.

(Снимок тюремщика с натуры).

1. Палач набрасывает петлю.



2. Палач выбил скамейку из под ног казненного.



3. Палач снимает казненного.

(см. след. стр.).

Сводилась речь к следующему: «Назревшие вопросы русской жизни должны решаться революционным путем, от царя ждать подачек не приходится, в частности, насильственно будет решаться вопрос о земле. Вы, сыны земли нашей, в поте лица всю жизнь обрабатывающе ее, только вы имеете право на нее. Сегодняшние ее владельцы должны быть выметены метлою революции из насиженных, вашим потом и кровью орошенных гнезд. Давая присягу служить царю и отечеству, вы должны знать, что эта формула давно уже уничтожена внутренним противоречием, и так как царь против отечества был, есть и будет, вы свой долг перед отцами вашими, перед всей страной исполните, только служа отечеству, защищая его от врагов внутренних в лице царя и помещиков. Это трудная, товарищи, задача, за которую лучшие из нас жизнь отдают. Не пожалеем же и своей, если это потребуется. И знайте, что в этой борьбе вы не будете одни. В военной среде, которой вы отдали лучшие свои годы, в унисон с вашими сердцами бьется и сердце офицера. Быть может, сегодня вы впервые встретили его, но завтра, завтра вы увидите не одного из нас в ваших рядах. Бодрее же за дело, за борьбу с царем, за землю и волю, за свободу родной страны».

Лед растаял. Глаза солдат были влажны. Воцарилась тишина От волнения никто слова не выговорит. Но в этом молчании, столь богатом содержанием, чувствовалось что-то бодрящее, грудь вздымающее,—дышалось легко и привольно.

И нужно было видеть этих больших детей земли по окончании речи оратора, выражение их лиц, любовно нежные взоры, направленные на офицера.

Не до излияний было; мы были на нелегальном собрании, которое пора было кончить. Тем же порядком, распрощавшись с хозяином, мы поодиночке оставили его квартиру и вновь сошлись вместе далеко от нее, где дана была воля чувствам участников собрания, на которых оно произвело неизгладимое впечатление.

Конспиративные соображения удержали нас от устройства впредь подобных собраний, да и интересами успешного продолжения нашей работы по вовлечению более широкой публики в организацию оно не диктовалось. Поставленная себе цель—показать верхушке масс, что мы не одни, что в среде офицерской ведется революционная работа,—была и этим единственным собранием достигнута вполне. И это сказалось как нельзя лучше в дальнейшей нашей работе; охват массы пошел быстрее, наэлектризованная верхушка, мысленно уже выступавшая под командой своих офицеров против общего врага, усилила свое рвение и, близкая массе, тесно спаянная с нею одной общей лямкой казарменной жизни, интенсивнее пошла сеять бацилы революции.

Наступила вновь походная жизнь. Мы выступали на зимние квартиры. С Калининым, кое-какой литературой нас снабдившим, мы условились держать связь перепиской.

На зимних квартирах.

С прибытием домой, на зимние квартиры, как только жизнь вошла в обычную колею, работа вновь закипела. На этот раз стал ощущаться недостаток в руководящих силах.

Спропагандированная нашим кружком масса жаждала слушать свободное слово. Решено было по возможности по воскресным дням устраивать в лесу за городом массовки, при чем наивозможно лучше обставлять их, законспирируя от внешнего мира, что и удалось нам.

На массовках стало появляться все больше и больше публики, не менее 25—30 на каждой. Не ограничивай мы количество участников сходок, последние собирали бы больше публики. О нас заговорили в бригаде. В каждой батарее были участники сходок, которые, в свою очередь, делились с товарищами, приглашая и их на ближайшие массовки.

С внешней стороны массовки обставлялись как нельзя лучше. Публика была вымуштрованая и привычная к паролям и молчанию, когда нужно было. Обычно в воскресенье на базаре члены кружка, получив от нас адрес собрания, передавали его массе, сообщая пароль, и сами первые выходили по направлению к назначенному месту, организуя по дороге патрулирование по всему пути до начала леса, где уже один из них направлял остальных на заранее выбранное место, обычно недалеко от опушки леса.

В выборе места сходки в лесу употреблялся такой метод. Войдя в лес по широкой проселочной дороге и сделав по ней пару сот шагов, мы сворачивали на узкую дорожку, с последней на следующей, перерезывающую ее, и т. д., держась обратного направления, вплоть до самой опушки, вдоль которой, пробиваясь сквозь чащу деревьев, находили пригодное для собрания место. Свеже вырезанные на коре деревьев знаки указывали путь остальным. Таким образом, с уходом с поста последнего патрульного чужому трудно было к нам добраться, мы же находились недалеко от поля и, в случае нужды, могли быстро выйти из леса.

Участившиеся массовки, пребывание на них значительного количества солдат почти всех батарей не могли не поднять вокруг них общей молвы и разных слухов, а сведения о них не могли не дойти, в конце концов, до начальства, которое оказалось в один прекрасный день в положении зрителя того, как вверенные его попечению массы, призваные стоять на страже престола от посягательств внутренних врагов, переходят в лагерь последних.

Уже через месяц-полтора после приезда из лагеря, во второй половине сентября, стала замечаться повышенная нервозность у командного состава. На всех занятиях, будь то в казарме или в парке, на прогулках и т. д., о чем бы ни шла речь с солдатами, беседа всегда переходила на политику; и офицерство, особенно старшие, не жалело густых красок для повержения во прах врага внутреннего.

Первое время эти беседы, эта агитация носила, если можно так выразиться, академический характер. И привычное ухо,—а мы всегда прислушивались ко всему,—не улавливало в этой начальственной пропаганде актуального беспокойства, но в последние недели, предшествовавшие нашему аресту, в речах начальства явно слышался оттенок чего-то нового, далеко от академизма.

Пропаганда начальства ясно перешла в агитацию за выдачу крамольников из среды солдат, где они свили себе теплое гнездышко и откуда командный состав предлагал всеми способами выжить их, представляя по начальству.

Наша публика забеспокоилась. И не столько, правда, в ожидании грозы, имевшей рано или поздно разразиться над нами, сколько от того, что с момента, когда начальство стало нас популяризировать, требования масс на наше вольное слово увеличилось, а мы не в состоянии были удовлетворять его.

Как и раньше, нас было только двое, я и Чумаков, которые выступали на массовках; выделявшиеся из общей массы отдельные солдаты, в искренности и преданности коих не было у нас сомнений, много помогали нам организационно, но выдвинуть из их среды агитаторов, способных проводить самостоятельные массовки, нам не удалось.

Затем в устройстве собраний мы были ограничены воскресными и праздничными днями, когда публика свободна. В районе расположения бригад

Исполнение смертной казни через повешение.

(Снимок тюремщика с натуры).



4. Палач и его помощник у трупа.



5. Казненный в гробу. В сопровождении тюремных надзирателей, на двуколке казненного увозят на кладбище.

нельзя было устраивать массовки, группами же уходить в лес в будни значило бы вызвать преждевременный провал.

А мы решили продержаться как можно дольше.

Начиная работу в эпоху изживания революции 5-го года, мы знали, что рано или поздно она будет пресечена.

Не задумываясь о том, в какой форме и когда это должно произойти, мы ставили себе целью к тому времени охватить как можно более широкие массы нашей пропагандой. С другой стороны, по опыту недавнего прошлого известно было, что военные организации чаще всего падают жертвой внутреннего предательства. Если в гражданской организации можно по внешним признакам—социальное положение, образ жизни и т. д.—индивидуализировать каждого отдельного члена организации,—в военной среде это труднее дается. Положение одно у всех. Образ жизни также. Все носят одинаковые мундиры, а что под ним, какие мысли таятся под форменной фуражкой,—узнаешь уже пост-фактум.

Несмотря на то, что и нас предал член нашей же среды, я и до сих пор не уверен в том, имело-ли место в нашем деле подлинное предательство или случайно прижатый к стене член нашего кружка выдал нас, составив список 25—30 человек, который он вручил жандармам.

В конце сентября уже чувствовалось, что мы быстрыми шагами идем вперед к провалу. Но хотелось до конца быть на посту. Ни у меня, ни у Чумакова не было мысли уйти заблаговременно, прервать работу. Так продолжалось до дня ареста—7-го октября 1907 года.

Арест.

Был чудный теплый день начала октября. Молодые всходы озими зеленой гладью покрыли поля до горизонта. В теплом воздухе моментами улавливалось дуновение запоздавшей осени.

Выдавший нас член кружка, унтер-офицер 2-й батареи, фамилии его память не удержала, до последнего дня всюду бывал с нами, активно работал по организации массовок, с нами же сел в тюрьму, откуда через три дня был освобожден, при чем о том, что он именно выдал нас, мы узнали значительно позже.

В воскресенье, 7-го октября, публика после обеда, по обыкновению, хлынула в город; в этот день должна была состояться очередная массовка. По обыкновению, адрес места сходки сообщался публике в городе, на базаре. Делали мы это с тою целью, чтобы, во-первых, хождение на собрание не имело исходным пунктом территорию бригады, откуда легко было проследить направлявшуюся по одному направлению публику; другая причина была та, что, знай народ заранее час и место, мы имели бы на собрании пьяных. Сообщая же адрес на базаре, нам удавалось делать отбор. За количеством мы не гнались из конспиративных соображений.

Я и Чумаков в этот день заранее сообщили членам кружка место и час собрания и сами заблаговременно направились туда в сопровождении еще одного товарища, обязанностью которого было, по нахождении места, оставив нас вдвоем там, пробираться назад к широкой лесной дороге, перочинным ножем на коре деревьев оставлять указания пути следования к месту, где мы поджидали публику.

Все шло как по писанному. В течение часа-полутора публика все прибывала и, когда нас оказалось до 3-х десятков, вернулся и первый товарищ, и собрание открылось.

Первый говорил я. В памяти не удержалась тема этого последнего собрания. Минут 20—25 прошло, как вдруг раздался револьверный выстрел,

который, правда, никого не вспугнул, но я оборвал речь, и некоторое время мы прислушивались в тишине леса, стараясь уловить движение вокруг нас. Было тихо. Ни звука не слышно было. Чумаков предпринял маленькую рекогносцировку в окружности.

Он ушел, а я продолжал говорить.

Когда я закончил, вернувшийся к тому времени Чумаков заявил, что никого не видел, и взял себе слово. Как только он заговорил, опять раздался выстрел и, кажется, и другой за ним последовал. Стреляли не так близко от нас, как казалось нам, или это был обман слуха, ибо звук мог быть заглушен чащей деревьев. Мы всполошились. Что бы это означало? Неужели нас выследили, ищут и не находят, выстрелами хотят выкурить из леса? Мы послали новую разведку, а сами молча сидели в ожидании результатов ее. Через некоторое время вернулся посланный и также об'явил, что никого не встретил.

Как потом уже узнали мы, этими выстрелами нас-то и хотели выкурить на полянку, где они производились жандармским ротмистром, появившимся с командой пехотных ординарцев для ареста сходки.

Такой метод действия ему диктовало, вероятно, недоверие к солдатам, составлявшим его команду, ибо, брось он их врасыпную по лесу за поиском собравшихся, он не был бы уверен, что они нас не предупредят, скроют от него место сходки. Поэтому он стрелял, надеясь, что на ловца и зверь придет.

Собрание продолжалось, после речи Чумакова следовали вопросы, на которые мы отвечали. Кончились и эти последние. Пора было уходить. Публика по одному, по двое оставляла место сходки и пробиралась в разных направлениях к выходу из леса, а потом и по направлению к бригаде.

Последними из собрания ушли мы—я и Чумаков. Очутившись на поле, мы медленным шагом направились по дороге к бригаде.

Спускались сумерки. Спешить некуда было. Мирно беседуя о чем-то, мы приближались к ветрянкам, граничившим с городом, в 100 шагах от которых расположены были казармы.

На встречу нам шел крестьянин с ботинками на конце палки за плечами. Помню, я остановился на минутку закурить папироску.

Поравнявшись с нами, попросил и себе закурить. Когда мы ему дали, он, прикуривая, сказал нам:

— А вы, хлопцы, не ходите прямо. Тут за мельницами пехота задерживает артиллерийцев, возвращающихся по этой дороге.—И ушел.

Мы на минуту были озадачены. Арестовывают, но почему? Вспомнив, что за мельницами обычно происходит запрещенная игра в орлянку и частенько караульный офицер на месте преступления ловил игроков и направляли их в кутузку, я высказал предположение, что и на сей раз имеет место подобный «налет», и предложил Чумакову следовать дальше.

Он, подумав, оказался другого мнения, и настоял на том, чтобы мы свернули в поле, где мы сейчас же оказались под прикрытием холмика, скрывшего нас от взора поджидавших за мельницей.

Мы дальше полем пробрались к расположенному под прямым углом к казармам кладбищу, обошли его и направились в бригаду, каждый в свою часть.

Когда мы оказались на территории бригады, было уже темно.

Мы простились, ничего не зная, не подозревая, что только что избегнули ареста, так как жандармы, как нам говорили позже, издали заметили нас и, будучи уверенными, что мы сами попадем в их лапы, не выходили из-за прикрытия, ожидая, когда поравняемся, и они нас сцапают.

Но вот они нас потеряли из виду, а мы преспокойно обошли их с правого фланга.

Как только я оказался на пороге моей батареи, раздалось дружное:

— О-о-о, вот он!

На столе торжественно восседал мой собственный сундук, и вокруг него копошилась публика, стараясь вскрыть его. На мой вопрос, что это означает, я получил ответ, что это не больше, как чистка, ибо предполагали, что я арестован. И тут же рассказали, что только что провели человек 10—15 арестованных, задержанных жандармами и пехотой у мельницы, что все считали, что я был взят и другой дорогой отведен в тюрьму, ибо меня никто не видел. Арестованные бросали через головы своих конвоиров ключи своих сундуков на предмет очистки последних товарищами от нелегальщины.

Вот они и решили и мои вещи осмотреть—нет-ли чего в них компрометирующего.

Я был тронут, поблагодарил за внимание, но заявил, что ничего не знаю и никакого ареста не жду, попросил публику успокоиться и заняться своими делами, дабы не вызвать подозрения.

Настроение у публики было праздничное, многие были под хмельком, и немногих трудов стоило бы вызвать поход для освобождения арестованных. Но это не входило в нашу программу действия, да к тому же мы и не знали, что уже преданы.

Когда я немного успокоил публику своей батареи, я вышел на улицу, намереваясь вызвать Чумакова и вместе с ним посетить другие батареи. Но он уже направлялся ко мне, также узнав об аресте. Мы пошли с ним в лавочку на совещание, пригласив еще кое-кого из членов нашего кружка, уцелевших от ареста.

Информация дала мне следующее: жандармский ротмистр знал, в каком лесу мы собираемся, ему это было, как видно, сообщено днем еще предателем, явившимся потом на сходку и арестованным в первой группе. Для нас стало ясно, что взятыми дело не ограничится, нужно было готовиться к дальнейшим арестам в ту же ночь.

Мелькала мысль: не уйти-ли заблаговременно. Но из разговоров с остальными выяснилось, что ни у кого не было желания бежать, никто не придавал должного значения случившемуся. Правда, всего меньше мы в ту минуту предполагали, что нас предали и что все мы уже фигурируем в имеющемся в руках жандарма списке.. Поэтому решено было вернуться в свои батареи и внести успокоение своим личным влиянием на массу.

Так и сделали. До вечерней поверки оставалось больше часа, когда я вернулся в батарею. Все и вся толковало об аресте, о причинах. Доподлинно публика о сходке не знала, почему толкам не было конца. Но все расценивали арест, как политический.

Чтобы успокоить публику, я предложил читать вслух, что я часто делал. Быстро составилась аудитория, и я стал читать им, хорошо помню, водевиль Чехова «Юбилей».

Во время чтения вдруг вихрем влетел командующий батареей, капитан Маквиевский, и, увидя меня в центре группы солдат, быстро направился к нам. Мы стоя встретили его.

— Вы что тут делаете?

Подавая ему книжку, я отвечаю:

— Вот, читаю им Чехова.

Он взял книжку в руки, подозрительно исследовал ее и, убедившись, что это в самом деле Чехов, сквозь зубы процедил:

— А, Чехов?—Вернул мне ее и ретировался.

По его уходе чтение больше не клеилось, опять вернулись к аресту, связывая с последним появление не в урочное время капитана.

Никто в этот вечер не спал. Притаившись в ожидании дальнейшего, говорили между собою. Я также не мог заснуть, чуялось, что вот сейчас обязательно должно произойти что-то, именно в эту ночь, в этот вечер.

Я стараюсь забыться, стараюсь не думать, и минут через 20 почти на грани небытия.

В эту минуту с шумом настежь распахнулась дверь, в казарму вбегает штабс-капитан Шмидт, офицер нашей батареи, большой мастак на матерщину и ярый черносотенец. Выхватив шашку из ножен, он скомандовал встать и выстроиться на улице.

Затем повели нас в парку, где днем производилось учение и где теперь была собрана вся бригада.

Группа офицеров во главе с жандармским ротмистром под'езжала поочередно к каждой батарее. Подошли к нашей батарее.

Незнакомый голос, то был жандармский ротмистр, державший список в руках, говорит нам:

— Кого вызову—выходи!

Затем следуют фамилии: Королев, Гришин, Бебчук, Синицын и т. д.

Последним вызван я.

Мы оказались в группе экскортируемых жандармами.

В казармах потребовали наши вещи и приступили к обыску, не давшему жандармам никакой наживы. У всех было чисто. Вся операция в этот день проделана была жандармами как нельзя глупо. Не арестуй жандармы группы солдат, возвращавшейся с массовки, и сделай они ночной набег, кое у кого из нас была бы взята нелегальщина. Но шум, поднятый устроенной засадой у мельниц, предупредил нас, и мы предстали перед жандармскими очами чистыми, как агнцы.

Но вот процедура обыска закончена.

Под командой жандармов и в сопровождении 5—6 сослуживцев, с шашками на-голо и револьверами в руках, мы отправляемся в городскую тюрьму, где присоединяемся к ранее арестованным в тот день товарищам.

До утра продолжается операция в бригаде, и группа за группой приходит к нам в тюрьму.

В эту ночь мы не спали, и на ногах встретили зарю первого дня 18-тимесячного предварительного заключения.

М. Козель.

Воспоминания о рижском политическом Красном Кресте.

Каждый из нас более или менее знаком с деятельностью и психологией революционных кругов. С 1905 года появилось определенное литературное течение, посвященное исключительно революционному движению, и никакие меры, ни цензура, ни штрафы, ни аресты не в состоянии были заглушить это течение. Не говоря уже о воспоминаниях отдельных видных деятелей освободительного движения, о журнале вроде «Былого», по которому можно проследить историю революционного движения в России, стоит просмотреть беллетристику, появившуюся с 1905 г., и мы в ней ясно видим отражение переживаемых событий (я не упоминаю о Михайловском, Герцене, Чернышевском и т. д.,—так как это завело бы нас слишком далеко).

Но несмотря на великое разнообразие проходящих перед нами типов, мне не удалось встретить изображения идеологии той группы (преимущественно интеллигенции), которая, не будучи органически связана с освободительным движением, не состоя ни в партии ни в политическом об'единении, не имея ни желания, ни достаточного мужества для того, чтобы рисковать своей безопасностью во имя каких-то «идей»—в то же время охотно и по мере возможности оказывала помощь жертвам царского произвола.

Я хочу рассказать о той разнородной группе, которая об'единилась в Риге под лозунгом посильной помощи политическим заключенным, каторжанам и ссыльным, независимо от их принадлежности к той или иной партии, т. е., образовала беспартийный нелегальный политический Красный Крест.

Но я позволю себе маленькое отступление. Помню, что в 1883 г. мне не раз приходилось, под диктовку отца, писать письма в Сибирь. Обыкновенно эти письма были денежные и отправлялись в глубокой тайне, и отец говорил, что никто не должен знать про них, так как его товарищи сосланы в Сибирь за «политику». Ввиду моего возраста я этого слова не понимала; впоследствии кто-то рассказал, что эти товарищи были сосланы за дело 1-го марта 1881 г., затем из ссылки бежали в Париж. (Фамилии не помню, знаю лишь, что они окончили московский университет в начале 70-х годов). Когда умер отец, переписка прервалась, и слово «политика» на долгое время совершенно вышло из моего обихода.

В 1897 г., когда я уже переехала в Ригу, мне из Бессарабии, из г. Хотина, сообщили, что мой двоюродный брат арестован и, как политический заключенный, переведен в Ригу; родные крайне беспокоились, никаких вестей от него не получая, и просили разыскать его. В то время это было крайне трудно, не было никакой возможности выяснить, где находится тот или иной заключенный. С большим трудом лишь я узнала, что брат находится в цитадели, в одиночке; ни свидания, ни передач мне не разрешили, но сообщили, что брата через некоторое время переведут в Венден, и там я смогу повидать его. Действительно, вскоре его перевели в г. Венден, где мне и уда-

лось получить свидание. Это было мое первое посещение тюрьмы. Через короткое время брата перевели в Шлиссельбургскую крепость, где он и пробыл около года.

И опять тюрьма и политические заключенные отошли далеко от меня. Я всецело отдалась культурно-просветительной работе и завязала многочисленные знакомства с учащейся молодежью и трудовой интеллигенцией. Между знакомыми многие были партийными, и каждый из них убеждал меня вступить в ту партию, к которой он сам принадлежал. Но я оставалась при глубоком убеждении, что и беспартийный может быть полезен.

Когда в 1905 г. стали назревать октябрьские события, группа студентов обратилась ко мне с просьбой принять участие в организации медицинской помощи, санитарных отрядов. Студенты доставили большое количество перевязочного материала, брезента, парусины и т. д., и мы, при помощи нескольких знакомых, стали готовить носилки, сумки для санитаров и все необходимое для оказания первой помощи.

Муж обещал дежурить на ближайшем перевязочном пункте, устроенном в квартире д-ра В. Дом, в котором мы жили, был второй от вокзала, где постоянно устраивались собрания железнодорожных рабочих, в виду чего этот район находился под особенно зорким наблюдением жандармов и казаков. Здесь чаще всего происходили всякие столкновения. В цирке расположилось несколько раз'ездов казаков. Помню, как однажды вечером, на углу Парковой и Мариинской, собралась толпа. Кто-то сказал, что «Максим» [1]) сейчас на вокзале, в мастерских, и толпа под осенним дождиком терпеливо ждала его...

Вдруг послышался топот, из цирка появился раз'езд и полным карьером врезался в беззащитную толпу—это было одно мгновение, но кто это видел, тот не забудет этого мгновения. В окно ясно видно было, как люди падали под копытами лошадей, казаки вправо и влево били нагайками,—крик, вопль... Освещение было слабое, и в окно не видно было, много ли человек пострадало—во всяком случае, санитарные отряды успели унести всех раненых. Когда толпа рассеялась, казаки, довольные своим геройским подвигом, вернулись в цирк.. На улице наступила тишина... Через короткое время мужа вызвали на перевязочный пункт, в комнате находилось несколько раненых. Муж подошел к одному из них, раненому в ногу, но тот попросил осмотреть раньше товарища, лежавшего рядом. Положение этого товарища было действительно крайне тяжелое, почти безнадежное; требовалась немедленная хирургическая помощь, совершенно невозможная в условиях домашней обстановки. Решили отправить раненого в частную хирургическую больницу. «Санитары» с трудом усадили раненого и поехали в ближайшую клинику. (Приходилось соблюдать крайнюю осторожность, дабы полиция не заметила, что везут раненого). Под'ехали к ближайшей клинике—кажется на Елизаветинской—врач заявил, что он «раненых не принимает»; поехали в следующую—«раненых не принимают»; в третью—все тот же ответ. Не знаю, сколько времени таким образом возили раненого от одной клиники к другой,—знаю лишь, что он так и скончался по дороге от одной клиники к другой... Частные клиники в то время почти сплошь принадлежали врачам-немцам, которые боялись, что они за прием раненых могут прослыть «революционерами».

Мне в настоящее время трудно установить, сколько времени продолжалась в Риге борьба за власть. Кажется, что власть быстро перешла в руки

[1]) „Максим" партийная кличка. Но настоящей фамилии не помню, но знаю, что он состоял членом (или председателем) революционного комитета.

революционного комитета. Но... эта власть и быстро ускользнула из рук— по крайней мере в моей памяти этот период кажется крайне непродолжительным. Исчез Революционный Комитет, исчез «Максим»—и опять все пошло по-старому—или хуже. Правда, имелся знаменитый октябрьский манифест, образовались кружки «равноправия женщин» и «равноправия евреев», но именно существование этих кружков ясно доказывало, что фактически нет ни равноправия евреев, ни равноправия женщин... Но за то были аресты, и со всех сторон стали доходить вести о черносотенных выступлениях, о погромах и смертных казнях.

В это время я случайно узнала, что на Столбовой ул. группа лиц готовит пищу и снабжает ею политических заключенных,—передачи делались через родственников или наемных посыльных. Я предложила кружку мои услуги, и меня сейчас-же приняли в кружок—тогда принимали всех желающих— никаких выборов не требовалось. Одними из первых, организовавших эту продовольственную помощь, были: И. И. Сл—ва, А. И. Юрк—ч, М. Выр—ва, Лоз—ая, Е. Мал—а, А. Бер—ч, и еще несколько лиц, фамилии которых я уже не помню [1]). (Ввиду того, что многие из упоминаемых мною лиц находятся в настоящее время в Латвии, я считаю неудобным называть их фамилии полностью).

Источником дохода служили взносы и сборы, которые каждый делал в кругу своих знакомых. Этот «кружок» был ядром, из которого и развился беспартийный Красный Крест. По мере того, как количество заключенных увеличивалось со дня на день, наш способ снабжения оказывался неудовлетворительным.

Мы решили устроить котел в самой тюрьме, в мужском отделении (в то время значительно преобладали мужчины; политических заключенных женщин было очень мало). Со стороны начальника тюрьмы наш план препятствий не встретил, но требовалось разрешение губернатора. Губернатором в то время был, кажется, Звегинцев, и мы к нему достали протекцию. Все от имени того же кружка «равноправия женщин», мы обратились к губернатору с просьбой, разрешить нам кормить всех *нуждающихся* заключенных, и поставить с этой целью котел на 50—60 чел. Не знаю, поверил ли губернатор, что мы действительно будем помогать «всем» заключенным, во всяком случае он сделал вид, что принимает наши слова за чистую монету и «великодушно» разрешил нам использовать имевшийся в тюрьме большой котел. Это нам было очень на-руку.

К тому времени—приблизительно конец ноября—мы для более правильной работы выработали план, выбрали правление из 7 лиц, и хозяйственную комиссию, которая должна была исключительно заниматься котлом. Комиссия ежедневно доставляла продукты, составляла меню (не казенное), следила за приготовлением и распределением пищи. Готовили уголовные, которые за это получали паек и небольшое вознаграждение. Мужское отделение обслуживалось И. Сле—вой, а женское М. Выр—ой и А. Юрк—ч. Кроме обедов и ужинов из котла мы еще присылали около 20—25 обедов, которые мы получали через знакомых, и передавали через родственников заключенным. Впрочем, мы от этого способа скоро отказались. Помощь оказывалась исключительно политическим. Начальник [1]) тюрьмы смотрел на нашу работу сквозь пальцы, он был доволен, что политические спокойны, и что их содержание ему почти ничего не стоит.

---

[1]) Большинство участниц состояло членами „равноправия женщин“, но впоследствии союз распался, а Кр. Кр. существовал совершенно самостоятельно.

[2]) Этот начальник вскоре был сменен, за слишком либеральное направление.

По своему составу Кр. Кр. состоял преимущественно из трудовой интеллигенции (еврейское крупное и среднее купечество помогало иногда — при устройстве вечеров, когда мы им навязывали билеты—деньгами, но вскоре вообще прекратило свою помощь). Учащаяся молодежь помогала активно при устройстве вечеров, лекций, спектаклей и т. д. Первое место в этом отношении занимало коммерческое училище Миронова и торговая школа Кенина, где и учительский персонал в значительной степени принимал участие в революционном движении. Между рабочими мы сборов не делали, т. к. большинство рабочих в Риге латыши и они производили определенные отчисления в партийный политический Кр. Кр., который в то время насчитывал 120—150 активных членов и значительно большее число пассивных, помогавших взносами, одеждой, книгами и пр. Несколько позже, около 1909 г., к нам стали поступать взносы от мелких ремесленников и рабочих-евреев, сочувствовавших «Бунду».

Ввиду той национальной группировки, которая так резко выступала в Риге, считаю нужным отметить, что по национальности большинство членов были евреи, второе место занимали русские, немцев за время существования о-ва не было ни одного. Латыши-рабочие, как уже сказано выше, имели собственный партийный Кр. Кр., а латышская интеллигенция охотно покупала билеты на наши вечера. Мы не имели возможности привлечь их к работе — все ввиду той же национальной группировки. Но когда жена т. Стучки вошла к нам активным членом—она одно время была председательницей Кр. Кр.,— она сумела привлечь и латышские круги. Но она недолго оставалась в Кр. Кр. Ее муж в то время находился в Петербурге, и она, по некоторым обстоятельствам, принуждена была выступить из Кр. Кр. и затем вскоре покинула Ригу. Хочу еще отметить, что все активные члены Кр. Кр. были беспартийные, хотя многие имели родственников в той или иной партии, например, у нас членом была родная тетка Гершуни. Между пассивными членами были партийные и сочувствующие.

Деятельность Кр. Кр. с каждым днем развивалась. Мы не только снабжали тюрьму пищей; но и старались установить более тесную связь с заключенными; у нас всегда имелись списки всех политических, даже если они не нуждались в нашей помощи или по каким-нибудь другим соображениям не пользовались ею; через Кр. Кр. родные в большинстве случаев могли выяснить, находится ли в рижской тюрьме тот или иной заключенный; заключенные сами давали нам необходимые сведения, и благодаря этому информация была поставлена недурно.

В связи с происходившими событиями необходимо было организовать юридическую помощь. Для этой цели Кр. Кр. вошел в переписку с некоторыми видными петроградскими защитниками, которые и приезжали несколько раз по приглашению Кр. Кр. Помимо того, два рижских юриста безвозмездно выступали по делам политических заключенных, а выступать и защищать приходилось часто, очень часто.

Это было то жуткое время, когда свирепствовали карательные экспедиции, избиение розгами, смертная казнь по суду и без суда, пытки и истязания. Это была эпоха Ренненкампфа и рижского застенка. Самая разнузданная человеческая фантазия бледнеет перед этой действительностью.

Несколько отдельных фактов того времени особенно запечатлелись в моей памяти. Помню двух братьев—реалиста и студента,—арестованных по делу об убийстве митавского губернатора. Их привезли в Ригу и тут стали «допрашивать», т. е., их били и мучили немилосердно, били до того, что они превратились в сплошную массу окровавленного мяса. Через некоторое время

их судили, вынесли, понятно, смертный приговор и казнили—это были, кажется, из первых казненных. Помню, что заключенные боялись допроса пуще смерти,—так один заключенный, который должен был отправиться на допрос, разбил себя на смерть, ударившись со всего размаху головой о стенку камеры. Другой, переходя через рельсы, бросился под поезд—допрос был страшнее смерти, так как при «допросе» выдавали или даже просто клеветали на себя и губили товарищей. В связи с этими невольными доносами [1]) участились аресты и избиения. Чем больше доносов, тем больше арестов, а чем больше арестов, тем больше доносов,—словом, это был заколдованный круг, устроенный чародеями Ренненкампфом, Меллер-Закомельским и другими героями карательных отрядов.

В городе на допросе вырывали ногти и волосы из головы и бороды, в деревне били розгами, били беспощадно. Думаю, что многие знают лучше моего весь ужас этого слова «били розгами». Я сужу лишь по словам очевидца, мирового судьи из Смилтена, и врача В—на, к которому принесли сельского учителя (учителя особенно преследовались), получившего около 50 ударов. Несчастного, в простыне, привезли из уезда, где буйствовал карательный отряд. Д-р В. говорил, что это избитое, окровавленное тело было ужасно. В. во время японской войны видал бесконечное количество тяжело раненых, но не видал такого страшного выражения глаз. А таких страшных глаз было много.

Многие в душе страдали—но большинство было до того запугано, что не решалось громко протестовать.

Жертвой карательных отрядов были большею частью латыши, как более революционно настроенная и более организованная часть населения. И большинство заключенных были латыши—особенно в первое время. Эта группа заключенных сравнительно мало обращалась в Кр. Кр., и это легко об'ясняется: во-первых, большинство были местные или из ближайших окрестностей Риги, следовательно, имели родных,—во-вторых, о них заботился партийный Кр. Кр. Партийный Кр. Кр. не раз предлагал нам работать совместно или через представителей, которые должны были войти к нам в правление, но мы, из разных соображений, считали это предложение неприемлемым. Не знаю, руководил ли нами страх или глубокое убеждение, что мы под видом безобидного кружка можем принести бóльшую пользу. Мы, как лица вполне легальные, могли, понятно, свободнее действовать. Мы несколько раз получали приглашение на заседание партийного Кр. Кр., эти заседания были, понятно, обставлены крайне осторожно, и, помню, как однажды И. Сле—ва, отправившаяся делегаткой на такое заседание, блуждала 3 часа в Голенберге (предместье Риги) и вернулась ни с чем. А наши собрания происходили в центре города и с внешней стороны носили весьма безобидный характер. Правда, протоколы велись весьма своеобразно и больше всего на память, списки заключенных прятались основательно, но благодаря нашему легальному положению, мы работали безнаказанно, а в партийном Кр. Кр. бывали провалы.

Пользуясь нашими связями, мы всеми силами стремились улучшить положение заключенных.

Кр. Кр. снабжал заключенных лекарствами, устраивал защиту, получал переписку и деньги для передачи в тюрьму. Когда в 1907 г. прибыло много женщин, Кр. Кр. хлопотал о том, чтобы с них сняли кандалы. Нужно указать, что несмотря на название каторжной тюрьмы, режим в Риге был в

[1]) Я уже не говорю о тех доносах, которые поступали со стороны реакционеров—бывали случаи, что родители выдавали сыновей, доносили на всех и всякого.

общем не особенно суровый, по крайней мере, поскольку я могу судить со слов заключенных и по собственным наблюдениям. Заключенные, переведенные из орловской тюрьмы, находили этот режим даже мягким. Впрочем, орловская тюрьма имела в то время весьма громкую, но не особенно хорошую славу.

Естественно, что в зависимости от того или иного начальства, режим колебался в одну или другую сторону, но факт, что Кр. Кр. все время имел возможность поддерживать сношения с политическими заключенными, и передача от нас всегда принималась, даже если мы ее привозили в неурочное время.

К сожалению, скудость материальных средств не давала нам возможности удовлетворять нужды всех заключенных. В самый разгар нашей работы в тюрьме находилось около 180—200 политических заключенных, из них большая половина обслуживалась беспартийным Кр. Кр. Большинство заключенных находилось в Центральной тюрьме, около 15—20 содержалось в Цитадели и при гауптвахтах. На каждого заключенного Кр. Кр. выдавал около 10 р. в месяц (при котле немного меньше). При переводе в другую тюрьму или при уходе в ссылку выдавалось единовременно 15 р. и одежда по мере надобности и возможности. (Деньги вымениваись на гривенники и вшивались в одежду—этот способ был довольно практичный, по крайней мере, деньги попадали по адресу). Одежды мы не покупали, а собирали между знакомыми; из Москвы мы получали не раз одежду; но это было уже позже, приблизительно в 1909—1910 г. Я, таким образом, получила из Москвы от Наумовой, по моему личному адресу, две корзины с женским верхним платьем и шубами. От этого же лица мною были получены и деньги для передачи заключенным. Ввиду того, что я Наумовой не знала и даже не знаю, действительно ли это фамилия отправителя, остается лишь предполагать, что мой адрес был дан кем-нибудь из заключенных, вероятнее всего из женской тюрьмы.

Кр. Кр. снабжал тюрьму и книгами—ред. «Русского Богатства» прислала некоторое количество книг, кроме того, мы обращались и к Морозову (шлиссельбуржцу) с просьбой собрать для нас в Петербурге книги.

Для пополнения кассы Кр. Кр. устраивал вечера, спектакли, лекции.

Первый вечер был устроен в конце 1905 г., под флагом «Равноправия женщин», «в пользу котла», и дал нам крупную сумму. Билеты брались нарасхват, артисты театра Незлобина безвозмездно взяли на себя программу, помещение «Улья» было предоставлено за минимальную плату. Тут невольно задаешь себе вопрос, чем вызывалось это сочувствие, эта странная отзывчивость буржуазных классов? Безусловно, была часть, которая сочувствовала освободительному движению, часть руководствовалась просто мягкосердечием и чувством справедливости, но главную роль играло возмущение против погромов, смертной казни и избиений. Но как бы там ни было, а давали охотно. Правда, многие давали и дрожали, как бы не скомпрометировать себя—«пожалуйста, не отмечайте нигде моей фамилии», «не записывайте меня». Дело в том, что мы билеты разносили по домам и ничуть не скрывали, что вечер устраивается в пользу политических заключенных,—впоследствии мы стали умнее и осторожнее.

Вечер, устроенный Кр. Кр., отличался тем, что в нем принимали участие все нацональности—кроме немцев, понятно—и совершенно различные группы—мелкая буржуазия, ремесленники, цензовая интеллигенция. Даже артистки театра Varieté внесли свою лепту. Кто знает условия рижской жизни, тот знает, насколько там чувствовалась национальная обособленность, как

глубоко укоренились мещанские понятия,—и при всем том вечер Кр. Кр. прошел хорошо и в нашу кассу поступила довольно крупная сумма. В 1906—1908 г.г. мы устраивали еще спектакли в театре Незлобина и в летнем помещении на взморье, а с 1908 г. лишь в театре Незлобина.

Около 1908 г. мы совершенно отказались от сборов, существовали лишь на наши членские взносы и на единовременные доходы с устройства вечеров.

Но членские взносы давали весьма незначительную сумму,—многие из наших членов уехали или по различным причинам принуждены были прекратить свою деятельность в Кр. Кр. У меня в квартире было произведено несколько обысков. Но какие-то незнакомые доброжелатели каждый раз предупреждали меня,—один раз такой доброжелатель предупредил меня за полчаса до обыска и чуть сам не попался в лапы жандармов. Думаю, что обыски были направлены не по адресу Кр. Кр., а против меня лично—за знакомство с некоторыми партийными работниками [1]). Во всяком случае, обыски кончались благополучно, никогда ничего не находили и никого не арестовывали. Все же, в интересах дела требовалась большая осторожность, тем более, что я в то время была председательницей, и у меня хранились протоколы заседаний и списки заключенных. Тюрьму я в то время не посещала, так как мы считали ,что мне, как еврейке, лучше не бывать там, дабы начальство не набрело на грешные мысли. Мужскую тюрьму обслуживала почти все время И. Сле—ва, а женскую А. Юрк—ч, а иногда М. Выр—ва или А. Берк—ч. Списки составлялись заключенными и передавались нам надзирательницей женской тюрьмы. Через них шла и корреспонденция, а иногда и внеочередная передача с'естного. А. Юрк. до того наладила сношения с женской тюрьмой, что устраивала нелегально свидания с любой из заключенных, бывала в камерах и знала почти всех, даже тех, которые сидели в одиночках. Однажды ее даже пригласили в камеру на чьи-то именины. Вообще, в женском отделении было легче работать, так, например, мой муж (врач) несколько раз по просьбе заключенных вызывался в тюремную больницу для оказания акушерской помощи. Связь с женской тюрьмой была довольно прочная и поддерживалась без перерыва вплоть до конца 1914 г., при максимуме в 60—70 ч. в 1907 г. и минимуме заключенных в 15—17 ч. [1]).

В мужской тюрьме дело обстояло иначе. Максимум заключенных был тут в 1905 г. Между ними были «смертники», которым мы, к сожалению, не могли помочь, и группа латышей, которые в нашей помощи не нуждались; большая часть заключенных были местные и имели родных и знакомых в Риге или вблизи Риги. Оставались заключенные, переведенные в Ригу из Петербурга, Орла и других городов, были матросы с «Потемкина», двое из них были доставлены в Ригу в весьма тяжелом состоянии и, несмотря на все наши усилия, вскоре умерли от туберкулеза). Большинство заключенных оставалось в Риге недолго—около года; их затем переводили то в Орел, то в другие города, то в ссылку, несколько человек перевели в иркутскую тюрьму. В связи с постоянными изменениями состава заключенных, наши отношения были менее прочны. Когда количество заключенных в мужской тюрьме значительно уменьшилось, Кр. Кр. отказался от котла, т. к. котел был расчитан на 50—60 ч., и при меньшем количестве порций оказывался слишком накладным. К тому же времени прибыл новый начальник тюрьмы, и мы, по просьбе заключенных, стали оказывать им помощь деньгами. Согласно закона максимальная передача была в то время 4 р. 50 к., но иногда нам удавалось передать и бо́льшие суммы. Так продолжалось приблизительно до

---

[1]) У меня одно время была конспиративная квартира.

[2]) Из этих 15—17 г. большинство находилось в Риге с 1907 г.

1910 г. Суммы иногда немного уменьшались или увеличивались, в зависимости от состояния нашей кассы.

С 1910 г. мы весьма сократили выдачу мужской тюрьме, стали направлять деньги и вещи в ссылку, а всю нашу местную работу сосредоточили в женском отделении.

Первые политические каторжанки, переведенные в Ригу (в 1907 г.) преимущественно из Петербурга, представляли определенное ядро—более или менее сплоченную группу, которая пользовалась известным авторитетом, и, благодаря этому, нам легче удалось наладить работу. Без этой помощи со стороны самих заключенных, наше положение было бы во всех отношениях менее благоприятным.

С тюрьмой у нас наладилась весьма оживленная переписка—главными корреспондентками были К. Мышецкая, Матусевич-Маркова и Емельянова. Через них мы получали все необходимые указания, списки заключенных и т. д. Корреспонденция в одну и другую сторону передавалась иногда родственниками заключенных, но большей частью через надзирательницу. Нашим главным врагом в тюрьме была делопроизводительница, которая следила за каждым нашим шагом и шпионила во всю. Из-за этой делопроизводительницы я долгое время не имела возможности посещать тюрьмы—ко мне, как к еврейке, она относилась особенно подозрительно.

Но когда А. И. Юрк—ч принуждена была уехать, обслуживание тюрьмы было передано мне Я в то время уже была председательницей Кр. Кр. и была в курсе всей работы.

Для того, чтобы начальница и служащие тюрьмы «привыкли» к моему лицу, я сначала ездила с А. И. Во время этих посещений я познакомилась с многими заключенными, и нам удавалось в корридоре побеседовать наедине то с одной, то с другой—заключенные как-то умудрялись устраивать эти неоффициальные свидания.

Первое время я все боялась—как-бы не подвести с одной стороны Кр. Кр., а с другой—кого-нибудь из заключенных. Но спустя короткое время, я совершенно освоилась и нашла необходимую линию поведения. Я всегда знала все, что творится в тюрьме, так как заключенные немедленно сообщали мне необходимое. При этом бывали случаи, что для этого пользовались услугами телефона. Так, например, когда заключенная «Соня» родила, нас, по телефону, просили доставить все необходимое для ребенка. Другой раз по телефону сообщили, что одна заключенная должна уйти в ссылку с партией исключительно из уголовных мужчин, а офицер, сопровождающий партию, известный развратник и пьяница. Надо было во что бы то ни стало задержать эту заключенную. Мы пустили в ход все наши средства, и в результате заключенная была переведена, как тяжело больная, в тюремную больницу, где и оставалась до более удобного момента.

По мере того, как апатия и реакция охватывали все большие круги, наши доходы с каждым месяцем уменьшались. Собирать ежемесячные взносы не было никакой возможности—приходилось ограничиваться устройством лекций. Местных сил в Риге не было (предложить немецкому лектору прочесть лекцию в пользу Кр. Кр. было бы совершенно абсурдно), да они и не привлекли бы публики. Приходилось приглашать таких лекторов, которые согласились бы взять на себя устройство лекции и затем отдали бы нам весь доход или по крайней мере 75%. К тому же эти лектора должны были пользоваться известной репутацией и читать на безобидные темы. Задача, очевидно, весьма сложная. Все же нам удалось достать несколько лекторов, которые приезжали из Петербурга и читали безвозмездно в пользу Кр. Кр.

Между ними могу указать Луначарского, Гр. Петрова и Арабажина. Помимо того, я, будучи в Петербурге, вела переговоры с Коллонтай, Морозовым и З. Журавской, которые тоже обещали прочесть несколько лекций—но когда пришлось хлопотать о разрешении, губернатор его не дал, и лекции не состоялись. В общем, в Риге трудно было устраивать лекции, так как имелся весьма ограниченный круг, посещавший эти лекции—небольшая группа русско-еврейской учащейся молодежи и интеллигенции.

По инициативе заключенных в женском отделении была устроена переплетная. Кто-то—кажется из патроната—подарил нож и еще кое-какие инструменты и некоторые заключенные решили взяться за работу. Но как достать работу! Воззвания в газетах не подействовали—тюрьма находилась далеко за городом, и сдавать отдельные книги было, понятно, слишком накладно,—извозчик обходился дороже переплета. К счастью, я в то время заведывала библиотекой О-ва Распространения Просвещения между евреями; я стала сдавать все наши книги в тюремную переплетную. Кр. Кр. давал весь необходимый материал (бумагу, корешки и т. д.), а О-во платило за работу по ценам обычного переплета и предоставляло мне переплетать книги, где угодно. Доходы с переплетной мастерской поступали в пользу заключенных (за вычетом определенного % в пользу казны), но они были так ничтожны, что с материальной точки зрения о них и говорить-то не приходится. Главную роль играла в данном случае возможность снабжать тюрьму литературой. Благодаря переплетной, все наши книги побывали в тюрьме, а это было большое преимущество.

Однако, переплетная существовала недолго, так как некоторые заключенные в скором времени перевелись в другие города или ушли в ссылку, а оставшиеся, по разным соображениям, не хотели или не могли продолжать работу в переплетной.

Несколько человек (Янсон, Озоль и др.) выразили желание заняться рукоделием и указали, какую работу они умеют. В связи с этим у меня появилась мысль обучать заключенных разному художественному рукоделию; ввиду того, что я окончила профессиональный семинарий и имела право преподавать, я думала хлопотать об утверждении меня в качестве бесплатной учительницы рукоделия. Я считала, что при этих условиях возможно будет войти в более близкий контакт с заключенными.

Однако, большинство нашего Кр. Кр. полагало, что такое оффициальное положение может показаться двусмысленным и может лишить нас доверия заключенных—и я ограничилась тем ,что стала снабжать работой тех, кто уже умел работать. Умение большинства было ограниченное—простое вышивание в крестик и вязание крючком. Вязание легко было сбывать, но вышивание приходилось брать по заказу в магазинах—при чем магазины ни за то и плохо оплачивалось (Впрочем, в Риге рукоделие вообще очень низко яко-бы для меня, при чем и ответственность за работу всецело несла я. Магазины давали преимущественно заказы на туфли—работа несложная, но за то и плохо оплачиваемая. (Впрочем, в Риге рукоделие вообще очень низко оплачивается). При всем том, некоторые заключенные, особенно уроженки Латвии, весьма охотно вышивали и вязали, а когда я научила их выделывать цветы из шелка, это так понравилось, что я еле успевала снабжать их материалом. Доход с рукоделия, благодаря некоторым «дипломатическим» уловкам, поступал непосредственно в пользу заключенных, минуя канцелярию.

Итак, Кр. Кр. всеми способами пытался облегчить положение заключенных, но наши доходы до того уменьшились, что еле хватало на самые необходимые расходы.

Помимо денег мы в ссылку посылали и вещи. Сведения о ссыльных мы получали от тех заключенных, которых мы знали по рижской тюрьме; иногда эти сведения нам передавались из Иркутска, через брата одной из членов Кр. Кр. Во всяком случае, мы всегда имели возможность проверить, попала ли наша помощь по адресу. Фамилий ссыльных не помню,—помню лишь, что мы несколько лет получали письма от «Вольки» (по профессии портной—арестован в Риге в 1905 г.), от «Изабеллы» и от Юзефовича (впоследствии бежал из ссылки).

Я от имени заключенных, по их просьбе, переписывалась с их родными, получала для многих всю переписку и деньги и посылки. Тюрьма сообщала мне о всех своих печалях и радостях, даже настолько интимного характера, что они возможны были лишь при вполне дружеских отношениях.

С другой стороны, оберегали меня от всяких неприятностей. Помню, кто-то передал в женскую тюрьму револьвер—подозрение почему-то пало на меня. В тот-же день меня из тюрьмы предупредили запиской и просили не посещать тюрьмы до полного выяснения этого инцидента.

Я полагаю, что доверие и дружеское отношение касались не меня индивидуально, а относились именно ко всему Кр. Кр.—я была лишь исполнительницей наших общих задач. Считаю нужным указать, что некоторые заключенные абсолютно не пользовались материальной помощью Кр. Кр., а исключительно вели переписку при нашей помощи.

В общем, беспартийный Кр. Кр. обслуживал политических заключенных с 1905 по 1914 г.

В конце сентября (или в начале октября) 1914 г. я последний раз посетила рижскую каторжную тюрьму. В связи с военными событиями, всех заключенных вскоре перевели—кажется, в Саратов. Из Саратова мы еще получили письмо. Оставив 100 руб. для ссылки, мы остальные деньги отослали в Саратов; но из ссылки мы сведений больше не получали—и эти 100 р. по нынешний день хранятся в рижской сберегательной кассе. Этим и закончилась деятельность беспартийного Кр. Кр.

В 1919 г. я, к моему крайнему удовольствию, встретилась на службе с некоторыми бывшими политическими заключенными,—и мы вспоминали наши беседы в рижской тюрьме и наше прощанье в 1914 г.

З. М.

Биографические сведения о Н. Н. Дзвонкевиче.

Николай Николаевич Дзвонкевич родился 18-го апреля 1842 г. в Черниговской губ. В 1863 году, будучи студентом 3-го курса юридического факультета был в числе ста или более студентов, отбивавших от полиции арестованных поляков. За это был арестован, сидел в киевской крепости около месяца и был уволен из университета. Будучи студентом, работал с Драгомановым, основал на свой счет первую в России воскресную школу для богомазов на территории выставки. Затем имел мельницу и украинскую школу в селе Гайшине, Полтавской губ., Переяславского уезда. В 1864 г. женился, занимался хозяйством на хуторе Исаевичей, Переяславского уезда, и в имении жены (впоследствии проданном для землевольцев) и чумаковал в Крым за солью. С 1872 г. переселился в Севастополь, где служил судебным приставом и, вместе с Клеточниковым (впоследствии осужденным по процессу 20 народовольцев), В. К. Винбергом и Д. Милютиным, в течении нескольких лет отстаивал права возвратившихся после войны (1856 г.) татар на земли, захваченные Мордвиновым и Воронцовым, за что пользовался большой любовью татар. В 1887 г. на свой счет организовал группу добровольцев-нигилистов, с которою отправился в Сербию и Черногорию на войну, где был ранен в отряде Врбицы. Вернувшись в Полтавскую губ., в селе Великой Каратули, вместе с В. И. Лепешинским (членом Киевской коммуны) занимался пропагандой среди крестьян и хозяйством. В 1878 г. снова с семьей вернулся в Крым, поступил в Симферополе на службу в сиротский суд, в это-же время работал с Желябовым, С. Перовской, Н. Колоткевичем и др. С 15-го февраля 1879 г. основывает конспиративную квартиру и участвует затем все время в работе с народовольцами, принимая участие в организации покушений на Александра II-го. По доносу Вас. Меркулова арестован 23 июля 1881 г. в Симферополе. Обвинялся в участии в покушении 1-го марта 1881 г. и других по 179 ст. уг. ул. В Одессе сидел в башне тюремного замка и в казарме № 5. 3 апреля 1883 г. осужден военно-окр. судом [1]) к виселице, а затем, по конфирмации, к бессрочной каторге. 17 апреля отправлен на Кару. 13 июля 1883 г. в Томске насильно был подвергнут бритью головы, а в начале августа, не доходя 40 верст до Красноярска, бежал, был ранен и избит. Шесть месяцев лежал в Красноярске, так как у него были поломаны ребра, ключица, пробито легкое, диафрагма, и пуля перевернулась в печени (впоследствии в печени от этого образовался рак, от которого он и умер). На каторге Н. Н. Дзвонкевич, или Карийский дед, как его там называли, пробыл до 1892 г., когда, вследствии применения ряда манифестов, был отправлен в Минусинск на поселение, вместе с женой, которая жила с ним год на каторге, а затем и в Минунсинске, где получила тяжелую форму туберкулеза и порок

1) В Одессе по „Стрельниковскому“ процессу. *Ред*

сердца, и, вернувшись в Питер к дочери, в 1895 г. умерла. Затем он несколько лет пробыл в ссылке, в Кургане, Тюмени и работал на Ангаре. Вернулся яко-бы для операции (в результате хлопот) в Киев в июле 1898 г., где жил с дочерью. Последние годы провел на Кавказе, в Сочи и Сухуме, где умер 22-го января 1909 г. от рака печени.

В молодости, получив от отца богатое наследство, вместе с четырьмя братьями в 1859 г. освободил 5000 крепостных отца, отдав им по 15 десятин на душу, деньги отдал на продолжение стипендий студентам, учрежденных еще его отцом. В 1879 г. продал дом в Севастополе и деньги отдал народовольцам, так-же, как и имение жены своей. В 1883 г. дочерью был продан второй дом, и деньги так-же были отданы народовольцам.

Е. Н. Дзвонкевич-Вагнер.

Письмо Н. Н. Дзвонкевича из Красноярска жене и дочери.

Уходя с партией из Томска в конце июля 1883 г., мы с Матфиевичем решили при первом удобном случае бежать. В виду слабости Матфиевича (он был чахоточный и не совсем нормален), я надел на себя три костюма (верхний был арестантский), из которых два были заранее нам переданы в Томске. Всю дорогу конвойные зорко следили за нами. Только в сорока верстах от Красноярска надзор как-будто немножко ослабел, и тайга по обе стороны тракта стала неудержимо тянуть нас к себе. Подав знак Матфиевичу, я немного поотстал от партии и затем быстро бросился в тайгу, а Матфиевич за мной, но увидя, что его заметили конвойные, он отговорился естественной надобностью. Я неожиданно выбежал на поляну, где увидел пастухов, бросившихся мне наперерез. Заметив горку в лесу, я направился туда и, взбежав на нее ,стал первым попавшимся камнем разбивать заклепки от кандалов. Услышав шорох, я обернулся и, едва заметив позади ствола за пнем солдатскую шинель, почувствовал жгучий, острый удар в грудь и упал навзничь. Я захлебывался горячей кровью и что-то страшно давило грудь мою. Пытался приподняться, но не мог. С неимоверным усилием поднял голову и тогда увидел шагах в пяти испуганное лицо солдата, не трогавшегося с места. Кровь хлынула у меня изо рта, и я не мог произнести ни звука. Тогда я жестом стал просить солдата добить меня прямо в лоб. Эту мысль, эту последнюю волю я формулировал обращенным к нему жестом, прикасаясь пальцем правой руки ко лбу, как-бы с тем расчетом, что это будет вернее, чем в грудь. Он приложился ружьем, а я, подставляя лоб, спокойно выжидал второго выстрела, как вдруг сзади меня раздались многие голоса Что произошло из этого, я не видел, лишившись сознания, и только впоследствии узнал, что крестьяне помешали солдату добить меня.

Очнувшись, я увидел яркий солнечный свет и в этой сфере только пни с длинными косыми тенями, но это показалось мне уже в другом виде,—как живая, но чуждая мне стихия, безучастно смотрящая на мои страдания, а между тем к страданиям внутри меня прибавились еще извне, из этой светлой сферы сыпавшиеся на меня какие-то тяжелые удары, словно какая-то стихия обрушивалась на меня. Попеременно, то впадая в забытье, то снова возвращаясь к слабому сознанию, я ощущал удары и удары, но отчетливей всего я слышал навзрыд молящий голос: «Братцы, голубчики, не бейте, он помирает!» Этот приятный голос пробудил во мне сознание настолько, что я вдруг увидел стоявшего наверху надо мной солдата с приставленным к ноге ружьем, его доброе плачущее лицо, и понял, что он единственный мой защитник от злой

стихии. Все это показалось мне на мгновение, и я, снова впав в забытье, замер. Затем я смутно почувствовал, что меня, уже мертвого, что-то бросило сверху в пропасть, но падения уже не ощущал. Все эти обрывки сцен и явлений, подмеченных мною в короткие проблески сознания, дополнились впоследствии следующими сведениями. Когда я бежал уже от крестьян, солдат, потерявши мой след, направился прямо от места побега к дремучему лесу, отыскивая не меня, а кандалы, чтобы представить их, в качестве оправдательного документа своему начальству,—кандалы-де были подделаны, а потому арестант бежал, выстрелив-же в догонку, он исполнил свой долг и прав. Затем, услышав поднятую крестьянами тревогу и догадавшись, что преследуют бежавшего арестанта, он как истый сибиряк-охотник, притаился за пнем в ожидании появления добычи. Когда-же появился арестант, то он для верности боя положил ружье на пень и стал наводить мушку до тех пор, пока уже тот очутился в пяти или шести шагах. Тогда-то он выстрелил прямо в грудь арестанта и хотел добить его выстрелом еще в лоб, но подоспевшие крестьяне помешали. С другой стороны, бывшие при партии солдаты, встревоженные долгим отсутствием арестанта, заслышав два выстрела и догадавшись о причине их, оставили партию под надзором трех своих товарищей, а сами, в числе девяти или восьми человек, сев на пустую подводу, отправились к месту происшествия и тут-то, за исключением одного, они накинулись на умирающего от ран человека и стали бить его прикладами. Убедясь-же, что уже прикончили, они швырнули его ,как бездыханный труп, на стоявшую под пригорком подводу и доставили его в партию на дорогу. Вот здесь-то я снова очнулся на более продолжительное время. Сбоку меня, несколько в отдалении, словно в каком-то оцепенении стояла безмолвно серая толпа. На обращенных ко мне бледных лицах отражались чувства страха, удивления и какой-то беспомощной участливости. Сзади меня, у изголовья, раздался резкий повелительный голос: «Привязать его к телеге!», а сбоку, над моим ухом, очень близко отозвался другой голос: «Не надо, ваше б-дие, он и так кончится». «А кто это подстрелил его?» «Я, ваше благородие»,—отозвался тоже вблизи меня третий голос. «Молодец, трешницу получишь». Затем все исчезло бы из сферы моих чувств и ощущений, и я бы впал в забытье, если бы не новая пытка—какая-то всеобщая стихийная встряска, не дававшая мне ни забыться, ни очнуться настолько, чтобы сознать причину новых страданий. Все мое существо было сплошным страданием, без предвидения конца,—это было чувство вечной муки и бессмертия. Я не помню, как прекратилась эта встряска, и, продолжая все так же страдать, я заметил что-то новое в окружающем меня. Словно на той-же сцене сменилась только декорация. Темные бревенчатые избы одна за другою выдвигались на всем поле моего зрения, а около меня, нависая над моим лицом, показались грубые неприветливые лица с истрепанными волосами и бородами разных мастей, раздавались такие же грубые возгласы: «Берись четверо, вишь какой матерой; двоим не поднять». Потом послышался более мягкий голос—«Под голово-то сенца подложь, паря». «Чего там ишо,—отозвался грубый голос,—уложим в аккурате!» «А гляди-ко, братцы, как раз в само сердце угодил»,—заметил кто-то, тыча пальцем в мою грудь. «Да-а, в само сердце»,—отозвались голоса. Как я впоследствии узнал, это происходило в какой-то деревне, при перемены подводы под меня. Уже под вечер, по истечении двенадцати часов от нанесения мне раны, я был доставлен в Красноярск на тюремный двор. Грозно выглядел в сумерках высокий белый замок, как-бы заслоняя собою весь свет, и своею широкою темною дверью, как разинутой пастью, казалось, готовый поглотить все живущее в нем. Вокруг меня собралась многочисленная толпа арестантов. Сразу оборвались обыч-

ный шум и громкие разговоры, и люди с бледными лицами вполголоса переговаривались: «Кого-ж это привезли?». «Видишь, весь в крове, кровью подплыват!» «Что-ж он—расшибся?» «Ранен, весь разбит,—еще тише пояснял кто-то,—чуть живой». «Кто-ж это его?»—раздался уже громкий голос. «Да, знамо кто,—еще громче отозвался кто-то,—это солдаты, вот он!» «А-а, так это ты!..»—раздались грозные голоса с руганью. Но в этот момент выбежали из подворотни надзиратели и солдаты и разогнали толпу, а спасенный конвоир исчез в подворотню. Остались несколько человек, которые взяли меня и так мягко понесли, что я пришел в сознание, запекшаяся кровь хлынула изо рта, и я почувствовал себя живым. «Отнести его в карцер!»—приказал помощник смотрителя. Я снова впал в забытье, но появление доктора (ныне умершего, Можарова) с фельдшером и смотрителем пробудило меня. Меня приподняли и с первыми проблесками сознания я хорошо и прежде всего распознал, стоявшего сзади, моего старого товарища-друга В. Голикова. Этот пожилой и с первого взгляда суровый человек, весь красный, с нависшими рыжими бровями, но хладнокровный и сдержанный, увидев меня избитого, окровавленного, разрыдался и громким басом завопил: «О, боже, что-ж это они с ним сделали!» После перевязки моей раны, когда приподняли меня, и я случайно коснулся ногами пола, то, сразу почувствовав твердость в ногах, я сказал: «А я сам пойду»—и пошел, слегка поддерживаемый товарищем и еще кем-то. «О-о, да он сам идет!»—торжествующим голосом воскликнул товарищ. Далее не помню, как я мимоходом, совершенно инстинктивно, заглянул в дверную дырочку какой-то секретной камеры, как довели меня до другой хорошей камеры, положили в хорошую постель, все это по приказанию доктора, но помню хорошо, что фельдшер поднес к моему рту стакан коньяку, и я с жадностью выпил и крепко заснул до позднего утра. С пробуждением от сна пробудилось и сознание или, вернее, беспрерывное острое страдание, отчетливо раздельное: в груди, боках, голове, спине, кроме ног. Вскоре явился доктор Можаров с фельдшером, и я, увидев это доброе, симпатичное лицо, сразу почувствовал облегчение и успокоение болей. Это был старик под шестьдесят лет, высокого роста, плотный, брюнет с сединой, с открытым, умным и серьезным лицом, с широким, развитым лбом и вообще внушительным видом. Едва я взглянул на него, и взоры наши встретились, как сразу почувствовал какую-то веру в его искусство, а главное в симпатию ко мне. Хотя я почти никогда в своей жизни не прибегал к медицинской помощи, а теперь, тем более, не дорожил жизнью из опасения остаться на всю жизнь в каторге калекой, но при виде этого лица я почувствовал, что этот сильный человек хочет, чтобы я жил и твердо уверен в своем искусстве восстановить мое здоровье. Я не верил внушению, но теперь сразу поверил в еще большее чудо—исцеление. Во время зондирования им моей раны, только в первый момент я почувствовал острый укол, а затем мне казалось, что он извлекает из нее настоящую причину моих страданий. По исследовании он констатировал, что рана нанесена почти в упор в пяти-шести шагах, что грудная клетка, диафрагма, нижняя часть легкого и печени пробиты пулей, при чем сломаны два ребра в правом боку, а в левом нижние сильно повреждены от побоев тупым орудием, и поломана также ключица; голова, спина и почти все туловище с кровавыми отеками от тех-же побоев. Составив об этом нечто вроде протокола, он отправил его к прокурору для привлечения моего конвоира к ответственности за незаконное употребление оружия и пр. С этого дня по два раза ежедневно он посещал меня, промывал сквозь дренаж мою рану и вообще оказывал медицинскую помощь. Вслед за доктором и с его разрешения появился мой старый товарищ ухаживать за мной. Сразу войдя в роль сестры милосердия, он оказывал мне такое внимание, как мать,

сидящая над больным ребенком и прислушивающаяся к биению его сердца. Не дозволяя мне произнести ни слова, он по моим глазам отгадывал мои желания, приподнимая мне голову, когда надо было отхаркнуть скопившуюся в горле кровь, оправляя мне то руки, то ноги, потому что сам я не мог даже пошевелиться. Затем, присев к столику, он читал мне что-нибудь. Но не чтение, которого я по слабости не мог сознательно воспринимать, а его голос действовал на меня успокоительно, боли унимались, и я засыпал. Когда же я настолько оправился, что по мнению его должен был есть, то он стал уже донимать меня своими просьбами и настаиваниями. «Да хоть половинку с'ешь, ведь, отощал совсем, сколько крови вылилось с тебя»,—молящим голосом просил он. Но едва прикоснувшись к пище, я уже выражал отвращение. С болью в сердце отставлял товарищ пищу, чтобы вид ее не раздражал меня. «Ну, теперь коньяку хвати»,—наливая в чайную ложечку и поднося к моему рту, говорил он с просветленным лицом. Жадно хватая этот подкрепляющий напиток, я просил затем еще и еще, но более трех ложечек не получал. «Вишь, вот и закашлялся,—нельзя больше двух». Эта история с напитком повторялась много раз, и он никак не мог выдержать характера со мной. Когда он пытался не давать более одной, ставя бутылку под кровать, я раздражался, и он уступал, давая еще две ложечки. «Зачем ты дразнишь меня!»—полушепотом напускался я на него. «Ах, голубчик, поправляйся скорее, тогда я по целому стакану буду давать». Кроме этого я раздражался из-за мух. Сделав из кожи мухобойку и ходя по камере мягкою, но грузною и валкою походкой, он то и дело высматривал на стенах, на окнах и всюду по углам, не появится ли где какая-нибудь залетная с холоду, блуждающая мушка, и едва она, заморенная и полуживая, присаживалась, как он стремительно настигал ее и прихлопывал. Вид раздавленной мухи раздражал меня по чувству брезгливости. Слишком чуткий к моим страданиям, он спохватывался, оправдываясь: «Зачем-же они кусают тебя?» Едва я закрывал глаза, как он, думая, что я не услышу, снова прихлопывал где-нибудь жалкую мушку.

Через неделю друга моего Вас. Тим. Голикова оторвали от меня и отправили на Кару. По уходе его, однажды утром, служитель, прибиравший мою камеру, об'явил мне: «А вам определили няньку из больницы». «Какую няньку?»—вослкикнул я в первый раз за время болезни, и кровь хлынула у меня из горла. Он перепугался, а я почувствовал облегчение, стал просить его, чтобы няньки не присылали. Но нянька явилась перед вечером. «Вот вам и нянька»,—сказал служитель, пришедший в сопровождении фигуры в больничном одеянии. Я был до того слаб, что всякие звуки ощущались мною осязательно и, чисто механически, отливавшиеся для меня в какие-то внешние слова, не производили на меня никакого впечатления. Если-бы мне сказали, что за мной пришел гробовщик, то я, быть может, понял бы это, как факт освобождения из тюрьмы, от постылой жизни. Потом уже, когда во мне пробудилось сознание, я все-таки был поражен видом няньки, в образе старого арестанта, с зачесанными наперед висками, с голым подбородком и чуть заметными жиденькими щетинистыми усами. Это был николаевский солдат из кантонистов. Еще не зная, что в сибирских тюрьмах женские профессии нянек и прачек выполняются мужчинами, я недоумевал, к какому полу отнести эту фигуру и, наконец, отнес ее в область видений и фантомов, носившихся во время бреда в моем больном воображении. Только при посещении доктора, когда сквозь просунутый дренаж промывали мне рану, я приходил в полное сознание. Старое лицо доктора казалось мне очень симпатичным и появление его действовало на меня, как целебное средство. Я не ощущал боли, когда он зондом ковырял в моей ране, тогда как малей-

шее прикосновение посторонней руки не только к ране, а вообще к телу, причиняло мне страшную боль. В присутствии доктора я невольно сравнивал его лицо с рожей «няньки», и она казалась страшно антипатичною, деревянною, бездушною. По уходе доктора эта рожа маячила над моей головой в течении трех ночей. Едва я, изнуренный продолжительными страданиями, несколько успокаивался и впадал в забытье, как он начинал тормошить меня, то ворочая мне голову, то складывая мои руки на раненой груди на подобие покойника. Не имея сил унять его даже словом, я безропотно выносил страшные муки. Наконец, на четвертую ночь, когда я почувствовал облегчение настолько, что мог познать его, чтобы приподнять меня или оправить ноги, он грубо крикнул: «Лежи смирно, все равно скоро помрешь». Аккуратно он являлся ко мне на ночь в урочный час, аккуратно выпивал приготовленный мне чай и коньяк в пузырьке, находившиеся над моей кроватью, с'едал все приготовленное мне и, помолившись усердно на коленях богу, укладывался спать и до того портил воздух, что я задыхался. Рано утром он удалялся в больницу. На смену ему в течении целого дня тиранил меня появлявшийся в дверной круглой дырочке глаз часового-солдата. Этот фиксирующий глаз, казалось, все расширялся до громадных размеров, проникал в самую глубь моей раны. Когда я чуть отворачивал лицо от него, в коридоре раздавался громкий стук приклада об пол. Не раз я слышал доносившийся из корридора разговор часовых: «Живуч! Пошто, дурак, не прикончил!..». «Вот, поди-ж ты, медведя берданка валит, а его... А я бы его штыком прикончил!..» Вскоре я с равнодушным презрением стал относиться к этим солдатам и позабыл о своих палачах. Лежа навзничь—иного положения я не мог принять,—переводя взор с потолка вниз, я невольно натыкался на фиксирующий глаз. Это причиняло мне невыносимые страдания. Помню еще, что на меня успокоительно действовали доносившиеся из корридора участливые замечания арестантов: «Не заглядывай, брат, тут тяжко больной лежит, не надо беспокоить»,—и вслед затем слышались мягкие шаги удалявшихся от двери.

1883 г., 24-го сентября, г. Красноярск.

По пути в Сибирь.

Николаевская № 2 каторжная тюрьма.

Один за другим проходили годы.

Наконец, пришла осень 1913 г., в которую, согласно приговора, истекал срок моей каторги. Долгожданная осень, когда казалось, что вот-вот на утренней проверке на работу старшой уже не возьмет, а скажет: «Сегодня идешь на этап, оставайся в камере».

Было обычным явлением на каторге, что каторжанин не знал, когда-же, наконец, окончится срок, положенный ему судом. Осужденный в крепость, тюрьму, арестантские роты мог высчитать точно, в какой день кончается его срок, следовательно, переночевав последнюю ночь в тюрьме, он знал, что утром он будет по ту сторону каменных стен и решеток. За каторгой-же следовала отправка этапом, через различные пересыльные тюрьмы, в Сибирь на бессрочное поселение, а, сверх того, начальник каторжной тюрьмы мог, за «плохое поведение», по своему усмотрению, продлить заключенному срок содержания на каторге на год и более.

Наконец, мне удалось узнать, что вследствие позднего перечисления меня из разряда испытуемых (кандальщиков) в разряд исправляющихся (состояние в разряде исправляющихся считалось со дня снятия оков), для меня срок окончания каторги наступает не в сентябре, а в конце ноября; таким образом, пришлось сидеть еще полтора месяца.

Последние дни казались, действительно, вечностью. Годы легче переносились, ибо тогда мечтать о воле было сущей фантазией.

Остающиеся еще на каторге друзья изо дня в день повторяли, каждый, одни и те-же поручения: писать близким, живущим на воле, от их имени, а главное писать в тюрьму.

От души хотелось всем помочь, всех удовлетворить; но как это сделать? Каждый из нас отлично понимал, что конвой тщательно обыскивает, следовательно, писем с собой не возьмешь. Оставалось одно: захватить с собой евангелие, которое разрешалось всегда иметь при себе, и путем подставления точек карандашом под отдельными буквами текста, отметить хотя бы адреса живущих на воле друзей и близких, и, из ссылки, писать письма. Таким порядком я унес с собой из тюрьмы несколько адресов, в том числе адреса родителей т. Ривкина-Ходанюка в Смоленск и в Канск для друзей Михайловича.

Из ссылки, действительно, я разослал письма по поручениям, в том числе писал и в тюрьму политическому «вечнику» С. Мартовскому, политкаторжанину Сергею Модестову и другим.

Томительно долго длились последние дни на каторге, наконец, на утренней проверке, Жарков изрек:

— Ты сегодня идешь на этап, оставайся в камере.

Меня бросило в лихорадку. Сокамерники выходят на работу, жмут руки. Я остался один. Как безумный, я зашагал по камере; во мне боролось два

чувства: приятное сознание окончания срока каторги и грустное, что оставляю на долгие годы на каторге еще много друзей.

Днем прибыл конвой, меня вызвали в контору, об'явили, что в конторе из моих собственных денег имеется 3 рубля, и за 18 месяцев работы в корзиночной мастерской моего «неприкосновенного» фонда... 3 рубля 60 коп., итого—6 руб. 60 коп., каковая сумма будет мне выслана в Сибирь по месту жительства. Предложили расписаться. Вышли из поднавеса, поравнялись с окнами корзиночной мастерской, кто-то из окна кивнул головой. Бросив смотревшим прощальный взгляд, я очутился за воротами Николаевской каторжной тюрьмы.

Николаевская Бухтеевская тюрьма.

Расстояние от каторжного централа до Бухтеевской пересылки довольно почтительное, но, идя по улицам города, я желал, чтобы эта дорога длилась без конца. Конвоиры вели со мной беседу вплоть до информации меня о деле Бейлиса (о котором мы имели смутное понятие со слов прибывших в тюрьму новых каторжан). По дороге я пытливо рассматривал все, что попадалось: лошадей, людей, птиц и прочее. Мне казалось странным, что попадавшиеся мне навстречу люди идут без конвоя. Какая-то старушка, увидев меня и тройку конвоиров, перекрестилась, вызвав улыбку на устах моих охранников.

Прибыли в Бухтеевскую тюрьму. Режим этой тюрьмы напомнил мне одесскую «гостинницу». Облегченно вздохнул, когда после приемочной процедуры меня впустили в пересылку. Небольшая камера, с окнами у потолка и низенькими широкими нарами. В ней уже сидело несколько пересыльных не каторжан в ожидании этапа. Мое внимание обратилось на одного из пересыльных, проявлявшего «власть» над остальными сокамерниками. «Иван» всех «обнюхивал». Присел и ко мне: «Вы куда идете?»

— Каторгу кончил,—ответил я безразлично.

Ночь была кошмарная, клопы изводили, лежать на нарах не было никакой возможности; ложились на цементе—клопы и здесь нас мучили; пробовали поливать вокруг себя пол водой—они валились на нас с потолка. На утро многие пересыльные оказались обобранными. Уснувших тяжелым сном обобрал «иван», передав украденное корридорному «хавирить» (прятать). Прибывшие в пересылку на второй день еще два каторжанина, вместе с потерпевшими, загнали «ивана» в «угол».

В течение четырех дней пребывания нашего в пересылке, клопы не мало крови с нас высосали. Наконец, настало желанное воскресенье—день отправки на Харьков. Николаевский этап оказался сравнительно небольшим, человек сорок. После каторги шествие по городу с пересылки на вокзал было для меня вторым. Сколько впечатлений! И, как всегда, общее внимание «глазеющих».

В пути время проходило монотонно. Конвоиры, торчавшие с нами в вагоне, порой услаждали наш слух солдатскими песенками. Каждое утро конвоир раздавал этапникам по десять копеек на суточное довольствие. Впервые за несколько лет мы почувствовали себя «самостоятельными» людьми, с собственным капиталом, поступившим в полное наше распоряжение. Понятно, что десятью копейками в сутки широко довольствоваться нельзя было, но на хлеб хватало. Конвоиры раздавали кипяток, они же собирали кормовые деньги на покупку хлеба арестантам.

Близко подходить к окну вагона и смотреть в него считалось большим преступлением, таким образом, только и приходилось сидеть в купе по шесть-

Николаевская № 2 каторжная тюрьма.



Наружный вид тюрьмы.



„Прогулка" заключенных. Хождение в круг по два человека в ряд.

(Снимки предоставлены для сборника Николаевским Истпартом).

(К статье С. Ушеровича).

восемь человек и смотреть друг на друга. По правилам передвижения этапов по железной дороге, этап дальнего следования должен был получать «отдых» в ближайшей пересыльной тюрьме через каждые трое суток следования. Таким образом, после трехдневного путешествия, наша партия прибыла в тульскую пересылку.

Тульский ящик.

Старое, можно сказать, дряхлое здание тульской пересылки имело вид четырехугольного ящика. Теми же ящиками являлись его помещения—квадратные камеры, с маленькими окошечками, с ветхими сплошными нарами, вонючей парашей и грязными сырыми стенами. Но ввиду сознания, что мы явимся только временными жителями ящика, так сказать «проезжающими» —перспектива пребывания в нем нас не особенно тревожила. При том, администрация пересылки вела себя терпимо, поскольку тоже учитывала, что мы «гости». «Дядьки» сквозь пальцы смотрели на вольности, проявляемые нами, и не препятствовали нашим переговорам через «волчок» с соседними камерами. К моменту нашего прибытия в тульском ящике собралось много этапников из различных тюрем. Мы информировали друг друга о режиме в тюрьмах, откуда прибыли, о том, кто куда следует. Здесь встречались однопроцессники и друзья, потерявшие связь друг с другом несколько лет тому назад. Вечерами затягивали песню, громко говорили, спорили. Давали прогулку, свободную, без маршировки. Получали и пищу, но... ведавший пекарней и кухней, по нашему мнению, к пересыльным не докладывал. «Гости» стремились скорее уходить на этап и сетовать на плохую пищу или кусок хлеба весом менее фунта вместо двух фунтов—никто и не думал.

Столыпинские вагоны.

Когда нашу камеру выпустили во двор тюрьмы для передачи нас конвою. мы увидели, что входим в состав большой партии (несколько сот человек). Принимая этап, конвойные щупали каждого арестанта, долго искали в арестантских вещах, пересматривали всякую мелочь, приказывали сбрасывать коты, портянки и прочее. Все это происходило поздней осенью, в пасмурный холодный день, при арестантской одежде, «подбитой ветром», и не могло доставить нам большого удовольствия. Многие в эти дни сильно простудились, и потом болели в пути. Приемка, которой руководил конвойный офицер, длилась очень долго. После приемки конвой приступил к заковке рук каждых двух рядом стоящих этапников, одного за правую, другого за левую.

— Этап, слушай,—начал офицер свое напутственное слово,—ходить в ногу, без разговоров, смотреть прямо, не оглядываться, малейшая попытка к побегу повлечет за собою употребление холодного и огнестрельного оружия.

Кончив свое «слово», он тут же приступил к раздаче запасных патронов к наганам.

— Проверить оружие!

Мы пошли.

Показался вокзал. Издали жандармы разгоняли публику с перрона, очищая место идущему этапу. Этап простоял несколько часов в ожидании прибытия поезда с арестантами, также следующего в Сибирь, со стороны Московско-Курской линии. С грохотом и шумом подкатил поезд. Показались вагоны-решетки.

В момент, когда арестанты выводились из прибывшего поезда, раздались перекрестные вопросы и ответы двух встречных партий.

Нас провели к только что опорожненным вагонам. Вошли. Арестантские вагоны, прибывшие с Московско-Курской линии, оказались вагонами особого типа: вагоны-одиночки. Каждое купе имело шесть клеток, в каждой клетке помещался один человек. Сидящие в клетках могли видеть только противосидящего «соклеточника», но не находящегося рядом арестанта. При чем все шесть клеток закрывались решетчатой дверью. Все клетки примыкали к одной стороне, по противоположной же стороне вагона тянулся узкий коридор для часовых. День и ночь по корридору расхаживали часовые с шашками наголо, зорко следя за каждым движением арестантов. Двое суток мы провели в этих клетках, сидя, так как лечь и вытянуть ноги не было никакой возможности. Указанные вагоны-клетки имели специальное название: «Столыпинские вагоны», так как говорили, что после побега Беленцова, Столыпин распорядился построить такие вагоны.

Пензенский зверь.

На станцию Пенза I-ая этап прибыл перед вечером. Мы ожидали отправки в тюрьму, но произошла только пересадка. Из Столыпинских вагонов нас распределили по стоящим уже приготовленным обыкновенным арестантским вагонам.

Приемка партии происходила в присутствии офицера пензенской конвойной команды. Высокий, жирный офицер давал о себе знать при обыске. Конвойные, не совсем плохие ребята, не проявляли особой жестокости при обысках там, где не вмешивался офицер. Как только последний приближался к обыскивающим, конвой быстрее шевелил руками, грубо толкал, швырял арестантские вещи, ругался.

«Так их, стервецов»,—поговаривал офицер, обращаясь к конвойным.

Распределяя нас по вагонам и местам, конвойные жаловались, что и им житья нет от офицера, солдаты называли его «зверем». При нем еще не проходил этап, чтобы он человек 10—20 не заковал в наручники. Нередки были случаи и кулачной расправы с арестантами. От солдат мы узнали, что этот пензенский «зверь» в 1906 г. был где-то полицейским приставом. Дважды в него стреляли, один раз серьезно ранили, но он выздоровел. С того времени он пошел служить по тюремному ведомству. Был начальником уездной тюрьмы в Московской губернии, проворовался, его перевели в Пензу начальником конвойной команды.

В наш вагон поместили четырех «вечников» из Пензы, отправляемых в Нерчинскую каторгу. «Вечники» заняли верхние, близкие к потолку, нары.

— На поверку!—крикнул конвоир.

За время хождения по этапу впервые нас проверяли громко. Обыкновенно дежурный конвоир обходил все купе и считал число сидящих или лежащих арестантов. В Пензе офицер сам обходил вагоны и вел проверку.

— Верхние полки, чего копыто показываешь, поверни сюда рожу!

Забренчали кандалы, показались головы. Вслух сосчитав всех, находящихся в вагоне, «зверь» изрек:

— Ложись спать и до утра чтобы и духу не слыхать. Малейшее что—конвой, руби, стреляй, коли!

— Ваше благородие, кипятку нельзя-ли? День не евшие,—обращался к нему какой-то голос.

— Замри. Никаких!—повернулся и пошел в следующий вагон.

Не долго простояв, наш поезд двинулся по направлению к Самаре.

Над нашими головами чувствовалась какая-то возня. Лежащий рядом со мною этапник, также шедший на поселение, шепнул мне на ухо, что «вечники» на верхних нарах «берут потолок». Стало ясно, что под утро будет

трагедия для оставшихся в вагоне, если «вечники» совершат побег через крышу вагона. Отчетливо, ясно доносился до нас скрип пилящегося дерева. Поезд мчался, грохотали вагоны, а «вечники» «брали» потолок. Положение идущих на поселение было совсем незавидное. Шопотом наша «четверка» совещалась, как быть на случай удачного вскрытия крыши. Поселенцам бежать вместе с вечниками не было никакого смысла, с другой стороны, мы были уверены, что оставшиеся в вагоне после побега будут конвойными, под руководством офицера, изрублены и изрешетены пулями. Что делать? Самочувствие наше было не из важных. Каждый из нас понимал, что если крыша будет «взята», нужно будет действовать солидарно с вечниками. Скрип распиливаемого дерева продолжался во все время движения поезда. При остановках на станциях работа прекращалась... Кое-кто из арестантов уже храпел в тяжелом сне. Отяжелела и моя голова, и я уснул...

— Вставай на поверку, живо!—с обоих концов раздавалась команда.— Слазь с верхних нар, торопись.

Спящие схватились, быстро сошли с нар, построились. Рядом с нами стали «вечники».

«Попытка к побегу была обнаружена,—подумал я,—и сейчас последует расправа...»

Вошел офицер. Не здороваясь, он осведомился, как вели себя арестанты ночью.

— Происшествий не случилось, ваше скородие,—отвечал дежурный конвоир.

Офицер вышел. Мы заняли свои места, поезд продолжал мчаться дальше. Вечники «взяли» деревянный потолок, но не могли «взять» железной крыши вагона.

Самарская волынка.

Наша партия прибыла в самарскую тюрьму. Крестообразно построенная, самарская тюрьма занимала довольно большую территорию. Немного отвыкшие от специфической вони тюремных помещений, мы снова были вынуждены вдохнуть в себя «аромат тюрьмы»,—нас впустили в общие пересыльные камеры. Большие камеры-казармы вмещали в себе до двухсот человек. Разместившись на голом полу, этапники занимали места, где удавалось, оставляя лишь узкие проходы. Теснота в камере давала себя чувствовать: вечером лежало 10—12 рядов тел, и приходилось шагать через спящих; днем же царил хаос, смешение языков, шум от разговоров и звона цепей. В камерах каторжной тюрьмы существовал чрезвычайно суровый режим, но в пересыльной тюрьме была «вольница». «Блатные» в самарской пересылке также ожили. Заработал «майдан»: с утра до утра арестанты-уголовные с большим азартом вели игру в карты и на большие суммы. На руках водились деньги. Утром и вечером проверку производил один «дядько», довольно добродушный, никогда не обругавший арестанта. Он же наблюдал за раздачей хлеба и обеда. Хлеб был отвратительный, кислый, липкий. Некоторые арестанты лепили из него различные фигуры, совершено не употребляя его в пищу. Обед—кислая вода. Продержали нас в Самаре шесть дней и, наконец, вызвали на этап для дальнейшего следования. Декабрьские холода в Самаре давали себя чувствовать. А мы были довольно легко одеты: серо-суконный бушлат, шаровары, шапка и коты. В момент, когда по списку вызывали нашу, довольно большую партию, кто-то осведомился у надзирателя: будут-ли выданы добавочные вещи этапникам или нет. Получился отрицательный ответ. Тут же было устроено собрание и вынесено решение: арестанты на этап не выйдут, пока не будут даны полушубки и армяки (шинеля) для всех, идущих в Сибирь.

Доложили по начальству. Прибежал какой-то молодой помощник и закричал:

— Кого вызвали, выходи на этап!

Никто с места не тронулся. Избранный общим сборанием староста, политический каторжанин, вышел вперед и заявил помощнику:

— Мы знаем, господин помощник, что при наступлении холодов, независимо от тюрьмы, откуда отправляется этап в Сибирь, арестантам должны быть выданы добавочные теплые вещи. Если вещи выданы не будут, партия из камеры не выйдет.

— Что? Бунт! Конвой уже здесь, выходи на этап!

— Не пойдем,—в один голос отвечают этапники, политические и уголовные.

Помощник быстро вышел. В камере оживленно заговорили на тему об обструкции, в случае применения вооруженной силы против арестантов.

— Ребята, помощник сейчас явится с массалками (конвойными). Без вещей пойдем на этап?—кричит староста.

— Нет, не пойдем,—отвечает камера.

— Идут!—крикнул кто-то. Открылась дверь, вошел помощник с командой конвойных при офицере.

— Смирно!—орет дядько.

— На этап!—крикнул офицер, вызывая каждого по списку. Никто из вызванных не вышел из общей массы.

— Таких здесь нет?—спрашивает офицер.

— Есть,—отвечают ему.

— Так выходи и стань сюда!

Начался крик со всех сторон: «не идем», «давайте теплые вещи», «в отдельности никто не выйдет», «выведи команду» и т. д. Офицер что-то шепнул на ухо помощнику, тот поднял руку со словами: «Тише, замолчите, нельзя со всеми говорить, давайте старосту». Вышел староста.

— Ты староста?—спрашивает помощник.

— Не тыкай. Я староста.

— Пойдемте в контору, договоримся,—говорит офицер.

— Можно здесь.

— Да, да, здесь; никуда никто отсюда не пойдет,—раздавались крики со всех сторон. Какой-то грузин потянул к себе старосту:

— Кацо. Иды суда. Нэ ходы. Началник нэ пойдом.

Начальство вышло, забрав с собой конвой. Пока победа. Обсуждались вопросы дальнейшей борьбы. Среди нас было немало людей, вышедших из тюрем с тяжким режимом, следовательно, формы и характер борьбы с администрацией были знакомы почти всем. В самарской пересылке были все возможности бороться с администрацией,—мы не были распылены по одиночкам, а при некоторой организованности не то, что двести человек, но и десять могли оказать успешное сопротивление администрации. Кроме того, сама администрация старалась выпроводить из тюрьмы этап и приготовить место другому, находящемуся в пути; этапы прибывали аккуратно еженедельно.

Камера быстро разделилась на «десятки». Каждый десяток, в случае «рукопашни», должен был организованно действовать под руководством «десятника». Особенно деловито организовали отпор «вечники», надеясь, в случае «боя», обезоружить стражу и освободить тюрьму. Настроение создалось чрезвычайно нервное. Многие боялись провокации, поскольку в пересылке народ был довольно пестрый. Некоторые все время ходили по камере, прислушиваясь к разговорам отдельных арестантов, в целях выявления провокаторов. К окнам сами арестанты никого не допускали, опять-таки опасаясь, чтобы словом, жестом или криком не передалось во двор решение, принятое каме-

рой. Кое у кого в руках появились ножи, решено было использовать для отбития нападения всю арестантскую посуду (чайники, чашки, обеденные баки). Даже ушат с водой и параша были предназначены для «обстрела». Миски с солью пошли по рукам, готовилась махорка засыпать глаз нападавшим.

— Ребята, садись на пол и по камере не ходи,—распорядился староста.

Все сели, разговоры пошли в полголоса. Открылась дверь, вошел другой помощник:

— Кто идет в Сибирь и не получил полушубка и армяка, выходи на двор.

— Раздача вещей должна произойти в камере, а не на морозе,—отвечает ему староста.

Не прошло и пяти минут, как снова открылась дверь и группа арестантов внесла на плечах полушубки и армяки в сопровождении «дядьки».

Так по списку всем были выданы полушубки и армяки. Настроение переменилось. «Вечники» громко выругались.

От Самары до Челябинска наш этап продвинулся в течение трех суток.

Сибирский конвой.

Со стороны нового конвоя особых притеснений не было, если не считать отдельных окриков дежурных, запрещавших смотреть в окна, но к этому мы привыкли. На станции Уфа уплотнили все арестантские вагоны, в том числе и наш. К нам влилась новая партия каторжан, идущих на поселение. От них мы узнали некоторые подробности жизни заключенных в уфимской тюрьме. Рассказывали нам о происшедшей там голодовке и последовавших за нею массовых избиениях заключенных.

Прибыли на станцию Златоуст. Европейская Россия осталась позади. В окна смотрят Уральские горы, крутые, величественные. Мы начали спускаться. Поезд мчался, точно ошалелый. Гудит паровоз, стучат колеса, качаются вагоны, приближался Челябинск и Сибирь, готовая принять нас в свои морозные об'ятия. В челябинской пересыльной мы только переночевали и следовали дальше под охраной омского конвоя.

Вагоны обычного типа. Конвой не воспрещал нам переходить из одного купе в другое; мы скорее чувствовали себя пассажирами, чем арестантами. Покупки на наши карманные деньги производились конвойными более добросовестно, чем это было с предыдущими командами. Мы не расчитывали курить до ближайшей пересылки (во время передвижения этапа строжайше воспрещалось употребление табаку), но омский конвой сначала угостил нас махорочкой, потом на наши деньги приобрел нам табак и проч. Само собой разумеется, что каждый этапник в отдельности не имел возможности за суточные 10 коп. (по сибирской линии—12 коп.) приобретать себе хлеб, сахар и прочее. И, по примеру коммунальных общежитий в камерах, образовались коммуны в пути. Пять, а чаще десять—пятнадцать человек в складчину приобретали себе хлеб, мясо и прочее, и этим путем разрешали «продовольственную проблему».

Мы использовали неожиданные для нас «вольности», и, если не дремали, то вели беседы, а всего чаще смотрели в окна вагона.

— Ну-ка, братцы, не тужи, песню затяни!—Мы переглянулись: старший по вагону просит петь!—Прошлым этапом, когда политика шла, ну, и пели, ой и голоса, диво слушать. Пой, ребята, только на станциях — молчек, а то какая-нибудь стерва нарвется, и нас всех—в «диспилинарный».

Рабочий-слесарь, эсер-максималист Павленков затянул:

Уж ты доля, моя доля,
Доля горькая моя,
И за что-ж ты меня, доля,
До Сибири довела.

Все умолкли, арестанты и конвоиры. Голос,—какой это был чарующий голос. Павленков пел, забыв себя, забыв окружающее. Каждое слово, каждый припев заставлял нас мысленно оглянуться назад и на пройденный путь, и на черное бесправье, царящее по «святой» Руси...

Не за пьянство, за буянство,
И не за ночной разбой,
Стороны своей лишился
За крестьянский мир честной.

Кончилась песня. В вагоне продолжалась тишина. Только в углу тихо плакал старик-аграрник, окончивший 6 лет каторги и шедший на поселение.

— Ну, братцы, еще кто?

— Слушай «колыбельную»,—заявил Аронович.

Спи младенец, мой прекрасный,
Тихо, сладко спи.
Ты пока еще не «красный»,
Обыватель неопасный.
И «гостей» не жди.

Подрастешь, тогда узнаешь,
Как в ночи не спать,
Хоть «гостей» не ожидаешь,
Принимать их не желаешь,—
Надо их впускать...

Аронович развеселил нас несколько; охотников попеть нашлось много, и решили петь хором.

Начали сначала робко, потом смелее и еще смелее, и хор вышел на славу, при участии двух женских голосов (каторжанки, если не ошибаюсь, Урбанович и Котова из Риги).

Слезами залит мир безбрежный,
Вся наша жизнь—тяжелый труд,
Но день настанет неизбежный,
Неумолимо грозный суд.

Лейся вдаль наш напев! Мчись кругом!..
Над миром наше знамя реет!..

Лилась революционная песня, напоминавшая многим былые годы отважной борьбы и героизма, когда каждый из нас рвался на революционный подвиг—погубить врага или погибнуть...

Степи сменились тайгою. Мы приблизились к Красноярску.

— Скоро мы с вами расстанемся, ребята, давайте еще что-нибудь,— обратился к нам конвоир.

Анархист-коммунист Андреенко затянул:

Замучен тяжелой неволей,
Ты славною смертью почил.
В борьбе за народное дело
Ты голву честно сложил...

— Жарь на прощанье что-нибудь веселое.
«Бродяга» Кузьмич не заставил себя много просить:

Вышла Маня за водою,
Нашла черта с бородою,
Ай лю-ли, ай лю-ли.—

И пошел «бродяга» в пляску...

Поезд остановился. Была снаряжена делегация, выразившая конвойным пожелание и с последующими этапами, какие будут до освобождения российского пролетариата от рабства, обходиться не хуже, чем с нами. Пришли в пересылку и, сдав нас и уходя, конвойные вслух пожелали нам лучших дней.

Красноярские бараки.

Типичные сибирские пересыльные бараки с деревянными нарами в три ряда во всю длину камеры. Режим по отношению к нам был сносным, но другое обстоятельство сильно давало себя знать, это—сибирский 35^0 холод при нетопленных бараках, несмотря на наличие во дворе тюрьмы больших запасов дров. Вечером на проверке арестанты заявили протест и обещали «погреться у пылающих нар». Администрация сначала не обратила внимания на заявление арестантов, но когда ей вторично заявили. что будут жечь нары, начала топить печи. Но остывшее здание не скоро нагревалось, и этапники спасались от холода быстрой ходьбой из угла в угол по камере.

Сознание, что до последней пересылки, иркутской тюрьмы, осталось менее тысячи верст, укрепляло наш дух и заставляло нас смотреть сквозь пальцы на все лишения.

В 8-ми арестантских вагонах, в сопровождении красноярского конвоя, наша партия двинулась к Иркутску. Красноярский конвой оказался не хуже омского. В окна смотрели свободно. А к окнам рвались все: каждому хотелось видеть и сибирские станции, и самих сибиряков. На остановках торговки подбегали к вагонам с мороженным молоком, жаренным мясом, котлетами и проч. В отличие от омского конвоя, красноярский беспрерывно тянул солдатские песенки. На станции «Тайшет» наш поезд стоял несколько часов. К окнам подходили крестьяне-сибиряки в собачьих дохах и овчинах, среди них и несколько бывших каторжан. Нам собщили, что с этой станции мы встретим не мало таких, уже находящихся на поселении и служащих на железной дороге в качестве рабочих. По мере приближения к главному распределителю ссылки, Иркутску, разговоры велись оживленнее, каждый строил планы по своему; обсуждались возможности побега из ссылки и т. д. Проехали город Нижнеудинск.

Станция «Иннокентьевская», шесть верст от Иркутска. Конец Сибирской железной дороги. Медленно проходит поезд по мосту. Показался город с его церковными куполами, большими зданиями. Прибыли...

Далеко, далеко позади осталась Россия, Поволжье, Урал, Западная Сибирь. Мы прибыли в Восточную, в места «столь отдаленные».

По этапам и пересылкам мы сделали переход в шесть тысяч верст в течение сорока двух суток.

Иркутские ожидания.

17-го января 1914 г. мы прибыли в иркутскую тюрьму. Нас повели не в новое кирпичное здание, а в старые бараки, напомнившие нам бараки красноярской пересылки. Только иркутские бараки были значительно меньше, но

зато и теплее. Режима, можно сказать, и вовсе не было. Жили в камерах, получали «паек и ожидали отправки. Губернская тюремная инспекция должна была распределить прибывших по местам ссылки—уездам и волостям Иркутской губернии, и каждой партии приходилось ждать назначения от двух недель до месяца.

В самой иркутской пересылке была заведена (нелегальная, конечно) тетрадь-справочник, где каждый проходящий через пересылку отмечался в графах: имя, фамилия, за что осужден и каким судом, на сколько лет каторги, где таковую отбывал и куда назначен на поселение. Партия уходила на этап, передавала справочник остававшимся, «ожидающим», и, таким образом, многие по этой тетради розыскивали своих старых друзей, родных и сопроцессников.

Состав пересылки был довольно разношерстный. Здесь были представители всех политических партий и группировок и уголовные всех рангов.

Наше ожидание длилось три недели. Наконец, вызвали в партию назначенных на поселение в волостях Верхоленского уезда. В число их попал и я.

По Якутскому тракту.

Иркутский конвой нас принял почти без обыска. Партия двинулась. Холод и колючий ветер давал себя чувствовать по всему телу, но, духом бодрые и крепкие, мы шли, ловя глазами все встречаемое на пути. Конвой не придирался. Можно было ходить и не в ногу. Впервые наш этап не имел в своих рядах ни кандальщиков, ни закованных за руки. Еще смутно верилось, что когда-нибудь от нас отстанет конвойный, когда можно будет сделать несколько шагов без «наблюдения». Долго тянулось «Знаменское предместье», за ней длиннейшая Якутская улица, наконец, вышли на Якутский тракт. В среднем наша партия проходила не более пяти верст в час. Прошли верст пятнадцать, конвой разрешил сделать привал. Но сильнейшая снежная буря и 25-градусный мороз лишили нас возможности разложить огонь и погреться. Шли дальше. Изнемогавшие от усталости, слабые здоровьем, поочередно садились на ехавшие за нами сани, но не надолго,—сибирский мороз заставлял снова итти. На ногах были «коты» (обрубки кожанной обуви) и портянки; на теле—полушубок и армяк; на руках—из тонкой кожи рукавицы, и лишь быстрой ходьбой мы спасались от холода. По всему пути стояли поверстные столбы с цифрами, указывающими число верст, оставшихся позади и еще предстоящих в пути. Каждой пройденной версте мы искренно радовались. К концу дня мы еле волочили ноги. Наконец, показались отдельные хатенки, двухэтажная пожарная команда, дворики, и мы вошли в село Оёк.

Оёкская «волость», вся построенная из дерева с деревянным забором, произвела на нас впечатление какого-то сарая. При ней деревянная же тюрьма-«каталажка». Сотский с бляхой на груди принимал нас. Он стоял с видом самого «енарал-губернатора» и, вызывая каждого в отдельности, строил серьезную и важную мину. Окончив приемку, он велел нам войти в «тюрьму» на ночевку. Два человека с допотопными берданками в руках, без единого патрона, стали в дверях «тюрьмы». Мы потребовали дров. Запылала плита. Партия грелась. Сложили все копейки, и под охраной третьего челдона, наши уполномоченные пошли закупать провизию. Откуда-то появился котел, и из принесенных продуктов мы наскоро сварили суп с мясом. Проспали ночь. На утро мы собрались снова в путь. На этот раз всему этапу были доставлены крестьянские сани и, в сопровождении четырех «вооруженных» челдонов, мы двинулись дальше. Путь предстоял тридцативерстный. Наши конвоиры уселись в последние сани, укутались в дохи, положили под собой берданки, а нам предоставили устраиваться, как кому хотелось. Мы предпочитали итти, нежели

сидеть и мерзнуть в санях. Ища случая погреться, многие просто пустились бежать по тракту, убегая далеко вперед. Само собой разумеется, никто не мыслил о побеге: мы были одеты в арестантское платье, не имели ни денег, ни паспортов, ни явок. Все стремились скорее прибыть на место поселения, отдохнуть, ознакомиться с жизнью сибирского села и его обитателей, восстановить старые связи с друзьями и родными, и так подготовить почву для побега из ссылки.

Скрипели сани, тянулись маленькие, выносливые сибирские лошаденки, хрустел снег под ногами, снежная буря задерживала дыхание. В сибирских селах для перевозки арестантов сход назначал по очереди крестьян. Каждый хозяин один раз в месяц должен был дать сани с лошадью. За перевозку арестантов крестьяне ничего не получали, это была их повинность, которую они отбывали не совсем охотно.

Мы в'ехали в село Карганай. «Стража» выскочила из саней и направилась в волость. Подвели нас к новому сараю, окруженному полями,—это была «тюрьма».

Партия разбрелась по крестьянским избам. Чолдоны нас охотно принимали. К политическим они относились доверчиво, да и каждый этап за свою ночлежку платил—и за постой, и за самовар. При свете «каганца», а в зажиточных семьях — при свете маленькой керосиновой лампы, поселенцы «ужинали» и укладывались на полу спать. Перед сном мы выходили во двор, наслаждаясь первыми минутами нашего «безконвойного» бытия. Утром, в том же порядке, на санях, при трех вооруженных берданками челдонах, наша партия двинулась дальше по пути к Ользонам. Бушующая накануне вьюга еще более усилилась и не было возможности ни итти, ни сидеть на санях, ни бежать; дух захватывало во время бега; холод пронизывал тело при ходьбе, а на санях тело совершенно коченело. От'ехали верст пять, и наши «конвоиры» остановили партию с предложением вернуться обратно в село и остаться до следующего дня, авось, говорили они, снежная буря немного утихнет.

Возвращаться назад мы отказались, и погнали лошадей вперед. Ехать нужно было 32 версты. У кого какие вещи и тряпки были, тот ими укутался. На наших лицах, укутанных разным трапьем, намерзли ледяные сосульки; лошади сплошь были покрыты инеем. Белели щеки, руки, уши; друг друга предупреждали: «Дружище, три ухо,—оно у тебя отморожено». Вьюга усилилась. Продолжать путь было невозможно. Показались бурятские улусы [1]).

В улусы редко кто из русских заезжал, разве лишь, когда они сами кого приглашали. К ссыльным они относились враждебно. Таким образом, когда наша партия решила на час-другой остановиться в улусе, отогреться и поехать дальше, буряты подняли крик, вой, плач, полагая, что к ним приехали бандиты. Какой-то бурят начал бить палкой в медный таз, со всех изб посыпались буряты, бурятки и бурятенки, вооруженные вилами, палками, кусками железа и с гиком и криком бросились в нашу сторону. Мы кричали по-русски, что мы не бандиты, а они по-бурятски, что мы разбойники. Более отважные бросились навстречу бурятам и принялись их разоружать, другие выхватили берданки из рук наших конвоиров, пугая ими бурят, кто-то из нас силой рванул дверь бурятской хаты и ворвался туда, зовя остальных. Наконец, конвоирам удалось кое-как убедить бурят, что нам необходимо только погреться, и мы поедем дальше. Буряты успокоились, убедившись, что их никто грабить не собирается.

---

1) Улус—это небольшое село, где живут в большинстве своем связанные родством, буряты и сибирские монголы. Улусы имеют свою администрацию. Вокруг улусов расположены большие площади земли. Занимаются жители улусов скотоводством и хлебопашеством.

Указанная «волынка» продолжалась минут пятнадцать, и когда стали проверять число этапников, оказалось, что один замерз в санях, другого не стало вовсе. Убежал-ли второй с дороги или, отставши от партии, тоже замерз в пути, осталось невыясненным. Вокруг замерзшего долго хлопотали, пробовали своими средствами приводить в чувство—ничего не помогло, сердце не билось. Не стало человека. К сожалению, фамилию его не могу припомнить. Несколько отогревшись, мы поехали дальше, захватив с собой труп замерзшего для погребения в Ользонах. С прибытием в село Ользоны, мы прямо направились в чолдонские избы и расположились на ночлег. С большими трудностями, при содействии крестьян, удалось похоронить замерзшего товарища. Из волости были выданы дрова для отогревания земли. Крестьяне помогли нам вырыть могилу. С грустью, молча, мы простились с умершим, уложили в гроб и отнесли на кладбище. Буря выла, мороз пронизывал все тело, руки коченели, лопата переходила из рук в руки — товарища хоронили... вдали от родных, от друзей. Где-то ждали, долго ждали вестей от него, уже перенесшего все тяготы каторги и бывшего близко к воле... Не дождались...

Первый день без конвоя.

От села Ользоны до села Баяндай предстоял нам переход в 24 версты. Опасаясь новых жертв в пути, мы гнали без милосердия сибирских коняк вперед и вперед без остановок. Попадались улусы, расположенные недалеко от тракта, но в них не останавливались. Нам хотелось скорее прибыть в Баяндай еще и потому, что там, мы знали, уже живут поселенцы, следовательно, у них можно будет остановиться и переночевать. От Иркутска в 120 верстах расположено с. Баяндай — первая волость по приписке ссыльных. К этому же селу был приписан и я. Вместе со мною там должны были остаться десять человек. Приехали. Сани в'ехали во двор волости. Встретил нас баяндаевский пристав. Вызвав по списку, он указал, кто остается в селе на жительство, а кто на утро должен следовать дальше. В этот момент двор волости заполнился поселенцами, уже жившими здесь по несколько месяцев. Поселенцы заявили приставу, что всех прибывших они берут к себе по квартирам. Тот не возражал. Мы рассеялись по поселенческим квартирам.

Жили поселенцы, большей частью, группами, коммуной. Некоторые уже успели переодеться за время пребывания в ссылке, многие продолжали ходить в арестантских одеждах. Я попал на квартиру к Николаю Минину—Неизвестному. Вся квартира состояла из одной кухни с русской печкой. Печь плохо нагревала комнату, и приходилось пользоваться добавочной железной нагревалкой. Здесь мы нашли лежащего с вывихнутой ногой больного Арона Басина. Николай Минин был в роли сиделки, кухарки, дровосека, прачки и проч. Оставив больного, Минин принялся за угощение гостей: вскипятил в чайнике воду, сварил картошку в «мундирах», притащил каравай хлеба. Уставшие от дороги, продрогшие от мороза, мы были рады товарищескому приему.

Образовасля коллектив ссыльных, руководивший жизнью нашей ссыльной колонии: принятием этапов, оказанием приюта вновь прибывшим, распределением прибывавших средств, созданием библиотеки, оказанием содействия и помощи в побегах из ссылки и прочее.

Особенно чутко относились к вновь прибывшим Михаил Гончаров в Баяндае, Анна Сафронова-Алексеева—в Хоготе и Николай Минин—в Баяндае.

Из России присылалась бесплатно для колонии ссыльных литература, в том числе: «Русское Богатство», «Мир Божий» и «Русское Слово». Из Америки получалась газета «Голос Труда», орган анархистов.

Большими днями для ссылки считались дни прибытия почты из Иркутска. Вся почта прибывала через Иркутск на лошадях, если не ошибаюсь, три раза

в неделю. В Баяндае была почтово-телеграфная контора, обслуживавшая довольно большой район, прилегавший к селу и населенный переселенцами и бурятами. Сссыльные заводили знакомства с крестьянами. Последние доверчиво относились к политическим поселенцам. Буряты относились к ним менее доверчиво, жившим в улусах приходилось вообще редко сталкиваться с поселенцами.

У них не было разницы между уголовными и политическими поселенцами, особенно когда они видели и тех и других в арестантском одеянии. Забитые и отсталые, далеко не бедные, они относились к сельской власти с большим почтением, а пристава они считали равным министру. При встрече с приставом буряты, большей частью, кланялись ему до земли. Царя они считали богом на земле. Как-то раз я писал буряту прошение. Он задал мне вопрос:

— В стурбуре бил? (в Петербурге был?)

— Был,—отвечаю ему.

— Царь вдал? (царя видел?)

— Видел.

Бурят несколько отодвинулся от меня, широко раскрыл глаза, очевидно, считая меня не совсем нормальным. Он не мог допустить, чтобы обыкновенный смертный видел царя. По его мнению, царя еще никто не видел, кроме его жены и детей. И если царь куда выходит или выезжает, то не иначе, как с маской на лице.

Когда мне удалось его убедить, что это не так, он от меня не отстал, пока я ему не рассказал, кто такой царь, что он с обыкновенной бородой, руками и ногами, свойственными всем людям, и что царь так же пьет водку, как и сам бурят. Качал головой мой собеседник. Принимая меня за «редкость» (шутка-ли, самого царя видел), он настоял на поездке к нему в улус (15 верст от Баяндая), желая меня показать жене и детям.

Заключение.

Придя в ссылку, поселенец, по крайней мере, в первое время, попадал в трудное положение. Большинство жило, правда, коллективно, но коллективом и голодало. На все стороны бросались в поисках заработка. Пилили дрова у чолдонов и не отказывались от другой самой черной работы. Тем или иным счастливчикам удавалось обучать пару челдонских или бурятских детей и этим зарабатывать на дневное пропитание. Портные — портняжили, сапожники—сапожничали, интеллигенты и специалисты, труд коих не мог быть применим в ссылке, голодали. Я, печатник, одно время пилил дрова, потом работал в пекарне (бубличной), потом стал писать бурятам прошения и письма.

Каждый из нас стремился бежать с места приписки в город и проживать там на нелегальном положении. Но для этого нужны были средства и одежда. У многих не было ни того, ни другого. Бывало, ходишь по селу и видишь, как по единственной улице в одну и другую сторону ходят «вольные каторжане», т. е. люди, одетые во все арестантское, вплоть до шапки.

Постепенно, однако, начали прибывать средства от родных и друзей для отдельных лиц и целых групп, в том числе от политического Красного Креста.

И не надолго оставались после этого ссыльные на своих прикрепленных местах. По одиночке, иногда по 2—3 человека, пускались они в путь по тракту на Иркутск, одни нанимались конюхами и с крестьянами отправлялись в город; другие, «побогаче», — на почтовых лошадях, а многие просто идя пешком от станка к станку, ночуя в деревнях под видом ходоков, проходя в день 25—30 верст.

Очутившись в городе, первым делом поселенец приобретал «фальшивку» на год, стоимостью 3 рубля, или на пять лет, ценою от 5 до 15 рублей. Мно-

гие пускались в дальнейший путь на запад, в Россию, на Дальний Восток, в Харбин, Манчжурию, Шанхай и т. д. Каждая поездка была сопряжена с риском снова быть арестованным и судимым за побег с поселения. Эта перспектива, однако же, не останавливала ссыльных, которые рвались на простор, к жизни, деятельности, к новой борьбе за свою независимость, за насущный кусок хлеба. Если беглеца арестовывали за станцией «Челябинск», то осуждали на три года в каторжные работы, за побег из поселения в Европейскую Россию. Это обстоятельство вынуждало многих бежать в города Сибири и Д.-Востока, идя, так сказать, по линии наименьшего сопротивления, поскольку за побег из поселения в пределах Сибири, Забайкалья и Д.-Востока осуждали в тюрьму на срок от 3 до 6 месяцев с обратной отправкой на место поселения. Во время мировой войны иркутская тюремная инспекция стала, однако, выдавать разрешения на временное проживание под надзором полиции в городе.

Царские сатрапы с своим диким режимом на каторге, в тюрьмах и ссылке силились исправлять, наказывать «преступников»—поколебать их волю, их убеждения и стремление к борьбе за свержение самодержавия, за раскрепощение пролетариата, но ошиблись в своих расчетах.

Уцелевшие и вышедшие на волю принимались за борьбу с абсолютизмом с новыми силами. За время с 1913 г. по 1916 г. по Сибири было не мало политических процессов различных политических партий, участниками коих на 80% являлись бывшие политкаторжане и поселенцы.

С. Ушерович.

Житомирская группа политкаторжан и ссыльных, в день 7-й годовщины освобождения из тюрем (12 марта 1924 г.).



Каторжане: Макаров, Смоличанский, Кузнецов, Юрьев, Кукобин, Минаев, Розин, Щербаков, Шерман Король и Вельгинович.

Ссыльные: Пергамент, Мельник, Шур-Валицкая, Ушеренко, Пергамент, Пятецкая, Вакс, Фридман, Борзяков, Фишбейн и Бруль-Офенгенден.

Страничка о подполье Ржевской Организации Р. С. Д. Р. П.

(Из воспоминаний участника).

Дни 7, 8, 9 и 10/X 1909 г. сохранились в памяти рабочих гор. Ржева и теперь, а в те времена представляли «невиданное и неслыханное» событие в жизни города.

И правда, наехавшему сонмищу всяких чинов, судейских и прокурорских, особого присутствия Московской судебной палаты предстояло рассмотреть два больших политических процесса, участники которых в свое время держали судьбы железнодорожного узла и самого города, а именно: дело о стачечном комитете депо Ржев Московско-Виндаво-Рыбинской ж. дороги и—о Ржевской Организации Рос. Социал-Демократической Рабочей Партии. Событиями, предшествовавшим этим двум процессам были следующие события 1905 года:

Московское восстание в декабре 1905 года было подавлено. Этим исходом восстания была прдерешена и судьба забастовки московского железнодорожного узла. И в то время, как Дубасов залил Пресню кровью рабочих, царская гвардия, прорвавшись на Казанку в районе Голутвино, расстреливала железнодорожников, а карательный отряд стрелков ее величества, после «водворения порядка» в великолуцких железнодорожных мастерских, прикатил к нам на Виндавку. Командир отряда, занявший ржевский вокзал, издал приказ о немедленном возобновлении работ в мастерских и открытии движения, в случае же продолжения забастовки грозил рабочим депо преданием военно-полевому суду, а при попытке устройства собраний в депо—обстрелом последнего. Очередное в тот день собрание в депо, обсудив создавшееся положение, решило послать телеграмму Главному Стачечному Комитету, копия всем железным дорогам, о том, что рабочие депо Ржев готовы продолжать забастовку и подчиняются только директивам Главного Стачечного Комитета. Несмотря на то, что вокзал находился в руках карательного отряда, телеграмму удалось передать. Впоследствии на суде текст ее играл роль главного козыря обвинительной речи прокурора Галиновского.

Под охраной карательного отряда ожило, между тем, железнодорожное жандармское отделение, а с ним и его информаторы. Началось вылавливание более или менее активных среди служащих и рабочих и увольнение их согласно закона от 2 декабря 1905 года. Началось дознание и—при ближайшем участии жандарма Шепетько, кондуктора Калошина и начальника службы движения барона Корфа—возникло дело о стачечном комитете депо Ржев.

Сразу в категорию тех, к коим применялся этот закон от 2 декабря 1905 года, я не попал. Будучи откомандирован стачечным комитетом на станцию Мостовую для работ по поднятию упавшего под откос паровоза, я возвратился в Ржев лишь за несколько дней до появления карательного отряда. Скоро, однако, начальство спохватилось и, мудрствуя лукаво («лучше поздно, чем никогда»), задним числом включило куда следует и меня.

Увольнением дело для меня не кончилось. 24 марта 1906 года я пришел на явку в квартиру руководителя ржевской организации Р. С.-Д. Р. П. студента медика московского университета Петра Соколова. Мы должны были обсудить вопросы связи и кружковой работы среди рабочих Виндавской жел. дороги, а также вопрос о помощи пострадавшим за забастовку и арестованным в первых числах марта членам нашей организации Веланскому и Кривошеину. Последние были выданы одним из участников кружка почтовиков—чиновником Машенцовым. Этот предатель на конспиративном собрании в деревне Левтеевой на берегу Волги, на котором был и я, после докладов Веланского и Рютикова, сорвавшись с места, подбежал к ним, жал им руки, благодарил за доклады и клялся вести работу среди забитых и обездоленных почтовиков. И, придя домой, накатал жандармам донесение, в котором изложил все подробности виденного и слышанного, сообщил наши клички и наши внешние признаки; и обещал раскрыть всю организацию. Когда предварительное следствие по делу было закончено и нам были пред'явлены следственные материалы, то в числе их находился и этот рапорт верноподданного Николая II, а также показания других предателей и доносчиков: Цесельского, Поля, шапочника Кузьмы Софронова, парикмахера Зиновия Пояркова и лавочника Пузина. Началась слежка и полиция напала на след Веланского, ведшего работу среди расквартированного в городе полка драгун. В первых числах марта Веланский (Андрей), придя на собрание солдатского кружка, хозяином квартиры лавочником Пузиным, солдатами и переодетыми в драгунскую форму шпиками был схвачен, избит, связан веревками и отправлен в тюрьму. Кривошеин, отправившись в этот день с Веланским к солдатам, случайно избежал ареста, но чрез несколько дней за распространение литературы в деревне Щетинино Старицкого уезда был арестован надзирателями Митропольским и Казанским и также отправлен в тюрьму. Машенцев же выдал Поля и Цесельского, как входивших в кружок учащихся; последние же двое, в свой черед, выдали Соколова. И когда мы втроем (Соколов, я и Н. Разумихин), в квартире Соколова обсуждали наши дела, нагрянула полиция. Был учинен обыск, нашли много литературы, талонных книжек и только что набранный текст воззвания о помощи арестованным и пострадавшим от забастовок рабочим г. Ржева. Соколов был арестован. В отношении нас с Разумихиным ограничились тем, что записали наши адреса.

Но на другой день 23 марта я был арестован у себя дома. Меня выдали Поярков и Софронов, которых я снабжал партийной литературой. На обыске у меня ничего не нашли. После двух дней пребывания в полицейском управлении меня, по телеграфному распрояжению тверского прокурора Ильина, перевезли в тюрьму.

Сидвшим в Ржевской тюрьме, вероятно. памятны фигуры квазимодо-привратника, принявшего меня от полицейских, и начальника тюрьмы Виноградова—«Агаши», как прозвали его политические,—первая стычка с которым по вопросу о том, как держать себя перед лицом начальства, произошла у меня сейчас же в канцелярии тюрьмы.

— Ты чего сидишь? Встать! Брось папиросу!.. Что-о? Как ты сказал? Ты что, дворянин, чтобы тебя не тыкать. Разговаривать! Хочешь в карцер—а? Сейчас в арестантский бушлат переодену! Это тебе не 1905 год, когда политика черт знает что творила...

Поднявшись в сопровождении надзирателей через ряд дверей с железными засовами на второй этаж, встречаюсь с политическим—сельским учителем Михайловским:

— Как фамилия? Когда, где и за что арестован?

Под крики надзирателей—не разговаривать!—быстро отвечаю на вопросы. Связка ключей возится несколько секунд в дверях замка, громыхает

засов и дверь камеры № 14 раскрыта. Вхожу. Квадратное с решеткою окно с косым подоконником, деревянная нара и узкий проход между ней и стеною. Пахло затхлостью и мочею. Не успел я расположиться и освоиться с новым своим помещением, как в волчек ворвался звук знакомого голоса, зовущего меня. Бросаюсь к двери и, не видя лиц, прикладывая к волчку то ухо, то рот, слушаю и отвечаю...

К вечеру я знал все порядки. Политики все время сидели под замком. Массовые прогулки не разрешались, гуляли в одиночку по получасу в день. Строго преследовался разговор во время прогулки через окна. Письменных принадлежностей в камере иметь не разрешалось и только в определенные дни можно было в канцелярии писать письма родным и заявления, связанные с делом. Десятидневная голодовка, происшедшая незадолго до нашего ареста, мало чем улучшила положение сидевших. Но «клуб» через волчек окончательно завоевал права гражданства, и мы, особенно после вечерней проверки, вели нескончаемые програмные споры...

Город давал тюрьме эс-деков, а уезд эс-эров. Как ни разделяли нас наши програмные разногласия, на тюремном фронте мы жили дружно. Коноводом нашим, бунтарем и запевалой был эс-эр крестьянин Осташевского уезда Шишмарев. Шишмарева любили и в обиду в стычках его с «Агашей» не давали. В последствии до нас дошел слух, что Шишмарев был задушен тюремщиками в одной из пересыльных тюрем по пути в Сибирь (если память не изменяет мне, называли Владимир).

Тверская прокуратура, установив в процессе следствия общую связь между нами по политической работе, остановилась на обвинении нас по 126 ст. и, после созыва 1-ой Государственной Думы, мы были в разное время все освобождены на поруки и под надзор полиции.

Веланский уехал за границу. Соколов остался в городе руководить дальнейшей работой организации. Я, при посредстве членов организации, поступил на службу Тверского губернского земства в ржевское страховое агентство, во главе которого стоял Апостолов, совместно со страховым работником Бесневым положивший начало ржевской организации.

1-го мая 1907 года по распоряжению тверского губернатора Бюнтинга я был уволен со службы. Полиция, по предписанию жандармского генерала Шлихтига, пришла ко мне с обыском. Поводом явилось посланное на мое имя и перехваченное кем следует письмо, в котором сообщалось о предстоящем с'езде партии, о необходимости делегировать на этот с'езд представителя и т. д. Разбуженный стуком, я выглянул в раскрытое окно 2-го этажа вниз. В утреннем рассвете я увидел прижавшуюся к фасаду дома цепь полицейских и услыхал затем, как на вопрос хозяина квартиры—кто там?—ответили—почтальон, телеграмма. На столе лежала литература, присланная нам железнодорожником, членом с.-д. фракции Государственной Думы. В момент литература была собрана, снесена на кухню, и запрятана чрез отверстия крысиных нор под пол. На стук в мою дверь впускаю полицию. Перевернули весь дом и сараи, но ничего не нашли. Забрали легальные издания «Донской Речи» и модель паровой машины, в которой, быть может, усмотрели часть типографского станка, и взяли с меня подписку о невыезде—пока результаты обыска не будут доложены в Тверь.

Между тем организация, очистившись от предателей, несмотря на мартовский 1906 года провал, снова окрепла, пополнилась преданными делу товарищами и развернула свою работу. Летом 1907 года состоялось много массовок в окрестных дачах и на Волге, в том числе два первомайских праздника в молодом сосеннике у дер. Шопотово с числом участников 70—80 человек, с красным флагом и рефератами о значении дня. А зимою закопались в кружковую работу. Связь с Николаевской жел. дорогой—вокзал держалась через Разуми-

хина; с депо—через Маслова и Долгополова; с типографией и музыкантской командой драгунского полка—через Кривошеина и Политыллю; с фабрикой Гот—через однофамильца Петра Торопченова, с почтовиками—чрез почтальона Кострюкова; с прядильщиками местных фабрик одно время связи налаживали я, Соколов и Рославлев чрез рабочих—отца и сына, фамилию которых я забыл, отца звали, помнится, Петр Степанович; Виндавка держалась через меня. Референтами на кружках были Борис Сперанский, Михаил Пейлет. Самуил Зархин, Николай Разумихин, Владимир Андреев, Владимир Береснев и др. Принимал участие в организации и служащий фирмы Зингер Бабышев Саша. На время от'езда Соколова в университет руководство организацией оставалось у Николая Воскресенского. Конспиративные квартиры были: в часовом магазине Пономаревой, у зубного врача Софьи Зархиной, у Сперанских Николы и Бориса, у кружка рабочих Виндавки, у меня в канцелярии страхового агентства пока я там служил, у табельщика депо Ржев Балабанова и у слесаря Василия Левтеева. Перед партийным с'ездом в доме Грешищевых мы с Воскресенским готовили материалы к с'езду; отвозил их, кажется, студент тверяк Володька Сокольский.

Между тем закончилось предварительное следствие и дело уже было нам пред'явлено для ознакомления. Но судьбе угодно было еще раз преподнести нам сюрприз. В ночь на 3 октября 1907 года горит на окраине города дом Комаровых и на месте пожарища обнаруживают спрятанную типографию организации (украденную из типографии тверского земства). И мы, ожидавшие получения обвинительного акта по 126 ст., с обнаружением типографии попадаем снова в лапы прокуратуры. Дело возвращается для доследования и пред'явления нам обвинения по 1 ч. 102 ст., и к группе Веланский, Соколов, Кривошеин, Торопченов добавляют Евгения, Александра и Валериана Комаровых.

Только через год почти я ознакомился с дополненным делом и получил список судей и обвинительный акт в 626 страниц печатного текста. Суд был назначен на октябрь 1909 г.

За несколько дней до суда от доставленного в Ржев Комарова Евгения (чрез помощника присяжного поверенного Архангельского) я получил письмо с предложением организовать побег политическому каторжанину Ведерникову, осужденному в Москве по одному делу с Комаровым и вызванному в Ржев на наш процесс фиктивным свидетелем по нашему делу. По обсуждении предложения с членом организации Софьей Зархиной я привлек к делу котельщика депо Ржев Бориса Матвеева (и сейчас работает в том же депо) и токаря Дмитрия Немилова. Попытка Бориса, продежурившего несколько дней у тюрьмы, установить связь с тюрьмой и передать Ведерникову пилки, не удавалась в виду сильной наружной охраны тюрьмы, конной стражей, никогда до этого момента не бывшей. Тогда я, предварительно изучив помещение, предложил устроить Ведерникову побег из уборной в здании суда. План не осуществился в виду отказа Ведерникова бежать из здания суда, чтобы не усилить приговор участникам процесса.

Наконец настал день суда. Приехавшая на процессы московская и петербургская защита сообщила нам, что приговор будет в сильной степени зависеть от состояния печени председателя палаты Ранга. Первым слушалось дело о Стачечном Комитете в составе чрезвычайно популярных среди рабочих Виндавки врача А. Г. Филатова, инженеров Фирсандье, Собко, дорожного мастера Вишневского и счетовода службы пути Сударикова (по этому делу я был свидетелем). Достижениями ли защиты—Бобрищева-Пушкина, Малянтовича и Бернштейна—или благоприятным состоянием печени Ранга,—приговор был вынесен оправдательный всем, кроме Вишневского, получившего крепость за председательствование на собрании, где была составлена телеграмма Главному Стачечному Комитету.

Нам, участникам второго процесса, посчастливилось значительно менее. Печень председателя палаты Ранга нам определенно подгадила. Евгений Комаров получил ссылку на поселение; Валериан Комаров, Петр Соколов и Николай Торопченов приговорены к ссылке на поселение с заменой, по несовершеннолетию в момент совершения преступления, заключенем в крепости на разные сроки; Николай Кривошеин, представший на суде солдатом Углицкого полка, получил военную тюрьму и Александр Комаров был оправдан.

В 1922 году я встретился в Киеве с Кривошеиным. Он передал мне, что Евгений Комаров был убит на Лене при попытке к бегству, Соколов умер от туберкулеза, нажитого им в тюрьме, Николай Сперанский состоит председателем Исполкома Самары, Зархин живет в Ржеве, а о других, упоминавшихся здесь лицах, у него сведений нет.

Н. Торопченов.

Протест в Шлиссельбургской каторжной тюрьме.

Весь мой пройденный путь шестилетней каторги и трехлетней ссылки в Сибири испещрен эпизодами, вызванными системой истребления всех, кто дерзнул мысленно, словом или действием выразить недовольство полицейско-жандармским самодержавным строем прежней России.

В сущности, если считать годами, то не слишком долог этот путь: каторги всего 6 лет, а ссылки—3 года. Но что оставляет после себя этот недолгий срок—не всякий знает, а для того, чтобы представить себе его последствия, я изложу здесь один из эпизодов, имевших место в Шлиссельбургской крепости.

* * *

По сравнению с другими центральными тюрьмами—Шлиссельбургская многим отличается. Прежде всего, она расположена на маленьком острове, у истока р. Невы из Ладожского озера, в 60-ти верстах от Ленинграда. Общение с внешним миром из этого острова летом происходит посредством катера и лодок. Поэтому заключенным почти совершенно приходится оставить мысль о побеге из этой тюрьмы. Да и был бы сущей фантазией—побег из крепости, стена которой имеет высоту 7 саженей, а толщину 2½ саж. Кроме того, водное пространство является второй крепостью, о которую разбивается всякая мысль о побеге. Сообщения заключенных с «волей» из этой тюрьмы также были несравненно более затруднительными, нежели из других тюрем. Администрация тюрьмы, учитывая эти обстоятельства, могла свободно проводить в жизнь все способы утонченного издевательства и истребления обитателей шлиссельбургских застенков, и эту возможность она никогда не забывала.

Девятнадцать специальных карцеров почти всегда были заполнены, а когда их было недостаточно, то несколько камер или даже целый корпус превращался в карцер.

* * *

В 1912 году, после ленских событий, и вообще в виду некоторого оживления революционного брожения, усилилась реакция,—администрация Шлиссельбургской тюрьмы тоже, в унисон реакции за крепостной стеной, поспешила дать почувствовать себя заключенным и внутри крепости. В этот момент она применила даже те способы унижения человеческого достоинства, которые не всегда применялись в других тюрьмах даже к уголовным каторжанам.

В Шлиссельбургской крепости нередко бывало высшее тюремное начальство, которое указывало что там режим более соответствует режиму «культурных» европейских тюрем, на который жаловаться совершенно не приходится.

Тогда-же, в 1912 г. в июле месяце, точно электрический ток, все корпуса крепости облетела весть о том, что к трем товарищам политкаторжанам (фамилий не указываю) было применено телесное наказание яко-бы за некорректное обращение с надзирателем.

В нашу камеру была передана записка, в которой кратко сообщалось о случившемся и предлагалось на этот вызов тюремной администрации ответить протестом против телесного наказания, отказавшись от подчинения и вообще от выполнения тюремной дисциплины.

Следует заметить, что в Шлиссельбургской крепости, где целыми десятилетиями заключенные лишены были возможности организованным порядком выразить свой протест против жандармского насилия, массовый протест заключенных для администрации Шлиссельбургской тюрьмы и высшей тюремной власти был чем-то необычайным, и должен был повлечь за собою и последствия необычайные.

Получив сообщение о случившемся, мы обменялись мнением со всеми находившимися в камере заключенными, в числе 15-ти человек. Решили присоединиться к протесту четверо: я, Лукс, Андерсон и (кажется) Розенфельд. Остальные отказались по разным причинам: одни настолько уж были обезличены тюремным режимом и долголетним заключением, которое совершенно убило в них дух борьбы и революционность, а другие по роду своей судимости не принадлежали к категории политических. Такое отсутствие солидарности в камере создавало некоторое пессимистическое настроение, но жестокий факт варварской расправы администрации над товарищами вызвал бурю негодования, чувство борьбы и мести. Хотелось скорее увидеться с товарищами из других камер и корпусов и поговорить о способе борьбы против разгула зарвавшихся тюремщиков.

9-е июля был день (если не изменяет мне память) начала протеста. Протест должен был выражаться во всем, что противоречило бы общему порядку в тюрьме, что нарушало бы тюремный режим и дисциплину, а в каждом поступке протестующего должно было выявляться полное презрение к администрации.

Конечно, такое положение вещей не могло долго продолжаться; в первый же день протеста администрация тюрьмы должна была что-то предпринять, как-то реагировать на наши действия.

Так и получилось. Втечение целого дня 9-го июля мы использовали все, имеющиеся в нашем распоряжении, средства, при чем администрация все время старалась избегать соприкосновений с заключенными. Последнее средство протеста в этот день—не стать на вечернюю поверку—должно было решить и положение нас четырех, и всех остальных участников протеста.

Мы далеко не представляли себе число участников протеста, так как в Шлиссельбургской крепости было четыре корпуса тюрьмы, совершенно разобщенные между собою, и всякое сообщение между ними удавалось нелегко, особенно в это время, а именно сведения о количестве участников протеста нас очень интересовали.

В этот день у нас оставалось, как я сказал, последнее средство протеста—не стать на поверку в ряд по два и не отвечать помощнику начальника тюрьмы на его «здорово».

* * *

Приближался роковой вечерний час поверки. Все находившиеся в камере нервничали, мало разговаривали и быстро ходили по камере, подняв необыкновенный кандальный звон. И, казалось, что для них этот час был более мучителен, нежели для нас. Они с нетерпением ждали, что произойдет

у них на глазах, а мы, решив вопрос, знали, что сегодня в камере ночевать не будем, и что сегодня же будем видеть много товарищей из других камер и корпусов и узнаем все подробности о случившемся. Этого мы только и хотели.

Наконец, в одном из коридоров нашего четвертого корпуса послышался свисток—сигнал к поверке по камерам. В нашей камере по обыкновению все стали по одну сторону попарно в ряд, за исключением нас троих. Товарищ Лукс в то время уже был вызван из камеры и обратно не возвращен. Мы, трое, кто как вздумал: я стал к окну, спиной к двери, откуда будет входить помощник начальника тюрьмы со свитой, другой начал ходить по камере, делая вид, что он никак не реагирует на приближающуюся процедуру проверки, а третий тоже предпринял что-то в этом роде. Вдруг за дверью зазвенела связка ключей и распахнулась дверь. В камеру влетел помощник начальника тюрьмы с ватагой надзирателей, и, вместо «здорово», быстро подскочил ко мне с криком: «Ты почему не стоишь, как следует на поверке?» Я только успел ответить ему: «За нечеловеческое обращение с товарищами—не желаю подчиняться», как вдруг, дико, с шумом, набросились на меня несколько надзирателей и, не помню уж как, я очутился в корридоре. В противоположной стороне корридора я увидел группу товарищей, выброшенных из других камер, таким же образом, как и я. Остальные двое моих сокамерников вслед за мной также очутились в корридоре.

Как только окончилась такая «проверка», нас, выброшенных из камер, оказалось здесь человек 40, которых представили лично начальнику тюрьмы Зимбергу, по прозванью заключенных «чухна» (говорят, он был эстонец), который, выйдя из своего кабинета, подошел к нам и начал обращаться к некоторым товарищам с вопросом: «Как твоя фамилия?». Не получив ответа, он побагровел и произнес «приговор»: «На тридцать суток в карцер, а кто без кандалов—заковать!».

Последовала команда: направо, шагом-арш и т. д. Нас повели из этого корпуса.

Этим окончилась первая часть нашего выступления, часть, которая заключала в себе момент сильного напряжения нервов, возбужденную ненависть и злобу к палачам и чувство мести за оскорбленных товарищей.

Выслушав «приговор» начальника тюрьмы и команду его свиты, мы направились вниз по лестницам к выходу из этого корпуса. Последующая команда тюремной стражи указывала нам дорогу во второй корпус—изолятор (бывшая старая тюрьма), который находился в углу крепости, одной стороной примыкал к крепостной стене, другой к «Светличной бышне». В этой башне имелось несколько карцеров и камера царевича Иоанна Антоновича, которая всегда оставалась свободной, как историческая камера, и была заперта громадным висячим замком. Кроме того, этот второй корпус, несмотря на то, что находился уже внутри крепости, был еще отделен особой высокой стеной от других трех корпусов, где содержались заключенные, как и от остальных построек крепости.

Войдя в этот корпус, мы узнали, что все его двенадцать камер на нижнем и верхних этажах превращены в карцера, куда должны были быть помещены участники протеста. В одну из этих камер нас поместили в числе 15-ти человек. В камере, как и полагалось в карцере, не было ничего абсолютно, кроме «параши». Сидеть и спать можно было только на асфальтовом полу или на корточках. Но если принять во внимание, что дело происходило на севере, когда со стороны Ладожского озера всегда подувал свежий, сырой ветер, и что при том мы были одеты в летнюю одежду (парусиновые брюки и бушлат), то, ложась спать на асфальтовый пол, можно было вполне расчитывать на воспаление легких, ревматизм или что-либо в этом роде.

Первое наше занятие было—это начать перестукиваться с боковыми камерами и с камерой над нами, дабы узнать, кто в них помещается, из каких корпусов и как происходило там начало протеста. Через несколько минут мы узнали, что все камеры этого корпуса и остальные, специальные, карцеры заняты участниками протеста. Прошло еще несколько минут, и весь корпус был заполнен прибывшими протестантами из других корпусов. После чего было решено протест продолжать, требуя начальника главного тюремного управления. Каждая камера-карцер по утрам и вечерам должна была петь революционные песни. Последнее окончательно приводило в бешенство тюремную администрацию, и как только происходило пение, надзирателя внимательно подслушав, чей голос выделяется из общего хора, вызывали его и уводили в башенные карцера, которые были более кошмарны и убийственны.

Так мы начали отбывать тридцатисуточный карцер. Первые дни очень регулярно и воодушевленно из каждой камеры неслись звуки революционных песен. Товарищи беспрерывно перестукивались с соседними камерами, делились впечатлениями и разными сведениями. Голод и отсутствие достаточного количества воздуха, хотя и слишком действовали на нас, все же у нас хватало силы и бодрости переносить все это. По прошествии 15-ти дней в нашем карцере товарищи начали заболевать. Те, которые выбивались из сил, ложились спать и долго оставались на голом полу, заболели воспалением легких, а те, у кого были слабые желудки, приобрели катар, ибо тот ломоть хлеба, который полагался нам в карцере, был настолько сырой и кислый, что у некоторых товарищей желудки окончательно перестали его переваривать.

Я помню, как один из моих друзей по каторге, т. Маковский, будучи несколько дней болен желудком, окончательно перестал есть. Бывало, просиживал на «парашах» целыми часами, а потом вдруг падал на пол. Кто из товарищей еще мог держаться на ногах, спешили к нему на помощь, а другие начинали бить в дверь, чем попало, требуя фельдшера или доктора. И, несмотря на то, что это были ужасные моменты, администрация тюрьмы мало придавала им значения, она злорадствовала и оставалась очень равнодушной, когда из нашего карцера делали заявления, что тот или другой товарищ нуждается в помощи врача или что он уже умирает, не дождавшись таковой. С большим трудом удавалось добиться, чтобы опасно больного из карцера взяли в больницу. На наши заявления, ответ был всегда один: «После окончания карцера будет оказана помощь,—в карцере лечить не полагается».

На наше требование администрации вызвать начальника главного тюремного управления, явился его помощник, об'ясняя, что начальник где-то в Сибири по делам службы. И когда он вошел в один из карцеров, то, после команды: «Смирно, встать!»—все находившиеся в нем оставались лежащими на полу, а встал лишь только тот, который должен был делать ему заявление. Такое поведение товарищей было поводом к тому, что он не стал разговаривать и вышел из карцера, не выслушав даже заявления. А уходя из корпуса он слушал звуки революционных песен, раздававшихся ему вслед из других карцеров. Так его посещение ничего хорошего и не принесло заключенным. Даже наоборот, вскоре после его посещения, из общего числа протестующих администрацией была выделена группа товарищей в 14 человек, которые были высланы в знаменитый орловский централ «на исправление», где их «приняли» по всем правилам романовской системы.

К моменту истечения тридцати суток в нашем карцере от 15-ти человек оставалось всего шесть человек. Остальные девять человек частью были взяты в больницу, где некоторые из них умирали, а другие были переведены в башенные карцера. В других карцерах происходило тоже самое. Впоследствии,

по приблизительному подсчету, мы установили, что серьезно заболевших от этого тридцатисуточного карцера было около 30%, из которых многие умерли тогда же, а другие навсегда остались с надорванным здоровьем. И так как после этого выступления среди заключенных Шлиссельбургской крепости процент смертности значительно повысился, а такое явление могло обратить на себя внимание общества и вызвать мнение не в пользу высшей тюремной власти, в 1913 году начались отправки партиями больных заключенных в другие централы и на юг, в числе которых я тоже, как больной, был выслан в херсонский централ.

* * *

Теперь прошло уже около двенадцати лет со времени изложенного мною маленького эпизода революционной вспышки в жизни шлиссельбургских политкаторжан. В этот раз участниками протеста было слишком много пережито, и много проявлено гражданского мужества, силы воли и способности противустоять насилию.

Из вековой стены Шлиссельбургского острова не было слышно ни лязга цепей, ни воплей протестующих против экзекуций тюремщиков-жандармов. Там было тихо, точно в могиле, а плеск волн Невы еще больше придавал таинственности этой тишине.

Тюремная стража, унаследовав все способы утонченного издевательства от прежней жандармерии, производившей казни шлиссельбуржцев, в данный момент «доблестно» выполнила свой долг. Начальник тюрьмы Зимберг тоже «достойно» произнес приговор двумстам заключенным. Он хорошо знал, что для многих тридцать суток карцера равносильны были смерти, но над этим он не задумался. Где-то он теперь? Быть может, где-нибудь за рубежом Советской земли инструктирует культуртрегеров европейских тюрем, если только сам от народного суда не получил возмездия.

Я очень редко встречаю товарищей шлиссельбуржцев моего времени, участников этого протеста, с которыми пришлось бы припомнить многие подробности, но думаю, что у каждого из участвовавших в этой неравной схватке, эта искра тюремной революции никогда не изгладится из памяти.

А. Кукобин.

Из тюремной тетрадки.

В течение длинного-длинного срока их было исписано много почти каждым из нас. В них, в этих тетрадках, рядом с неизбежным календарем, «художественно», во вкусе автора, разрисованным, со всякими упражнениями по языкам или иным наукам,—выписки из книг, проза и стихи чужие и... свои; отвлеченные «философские» разсуждения—стремление к отвлеченностям сильно, когда окружающее реальное так бедно событиями и «новым», хоть чем-нибудь наделяющимся из ряда одинаковых, серых, тусклых дней—звеньев тяжелой цепи—«срока»;—мозг требует работы, бездеятельности не терпит; заметки о тюремной жизни, то ввиде длинных «мудрствований», то в форме афоризма; и на последней странице, надпись: «в сей тетради пронумерованных... страниц. Нач. врем. каторжной тюрьмы...».

Даже в наиболее «свободных» тюрьмах тетрадки периодически подвергались цензуре тюремного начальства, а исписанные отбирались «для возвращения по окончании срока». Неизбежность этой цензуры, за исключением случаев, когда написанное можно было нелегально отправить на «волю», своеобразные, иногда, выводы цензоров-тюремщиков, накладывали, поневоле, печать на каждую строчку тетрадки: сказано не совсем то и далеко не так, как мыслилось. Да не для тюремщиков и писалось—не перед ними же раскрывать душу, не для них дорогие тебе твои интимные мысли... Не хочется «им» показывать себя в минуту слабости, малодушия, уныния. Поэтому—оборванные фразы, отдельные слова, мнемонического характера записи: авось по слову, фразе, когда придется, удастся восстановить событие, факт.

Немного тюремных тетрадей «вышли на волю», большинство погибло в архивах и цейхгаузах тюрем [1]).

В имеющейся у нас тетрадке больше всего места—а исписано только ¼ ее—занимают «афоризмы», относящиеся, главным образом, к тюремной жизни. Есть среди них и записи, не относящиеся прямо к тюрьме, но несомненно отражающие настроения, навеянные заключением.

Из этих «афоризмов», даже построенные «под Кузьму Пруткова», звучат не по-прутковски...

Записи по настроению и содержанию можно разбить на группы. В одних имеет отображение пессимизм, безнадежность, усугубленного режима—«винта» [2]):

Каторга—смертная казнь в рассрочку.

В современной каторге осуществлено пресловутое: «на три года к повешению».

---

[1]) Мы полагаем, что соответствующими истпартами, или отдел. нашего О-ва, в тех городах, где были каторжные централы или находились в большом числе полит-заключенные, должны были-бы обратить особенное внимание на извлечение и обработку этих „человеческих документов“, интересных и для психологии и для истории нашей революции. *Г. К.*

[2]) Так называется на арестантском арго—жестокий каторжный режим. *Г. К.*

Для узника прошедшее—кошмар, грядущее—ужас.

Заключенный и свободный, что сытый и голодный, друг друга не разумеют.

Если б терпение человческое имело границы—не существовало бы тюрем.

Даже бывший шах персидски удивлялся «гуманности» режима русских тюрем[1]).

Арестантов опекают, как ребят, а относятся к ним, как к зверям[2]).

* * *

Есть и записи, звучащие некоторым оптимизмом, полагающим, что все имеет конец:

Даже «вечная» каторга в сравнении с вечностью—ничто.

И «бессрочная» каторга имеет конец.

* * *

Как каторжанина ни корми, все на волю смотрит.

Тюрьма, с ее режимом, долголетними заключениями, давала особенно большой процент больных и смертности. Для каторжной тюрьмы, за редкими исключениями[3]) были и особенные методы «лечения», создавался «естественный подбор» медперсонала, вроде врача орловской каторги, недавно судившегося в Москве, и совершенно безграмотных, пьяных «ротных» фельдшеров. Понятно, что при такой обстановке санитарного и медицинского дела, и когда заключенный, лишенный всяких возбудителей интереса, поневоле, особенно в одиночке, обращает внимание на *себя*, на свое здоровье, самочувствие,— болезни, больница, методы лечения и прочее, сюда относящееся, занимает довольно большое место в мыслях заключенного и находит соответствующее отражение в записках и заметках:

И факельщик может быть тюремным врачом.

Тюремный врач[4]) только тогда признает чахотку, когда легкое свистит, как труба горниста.

Каторжники народ упрямый: хотя все уходящие в тюремную больницу «приказывают долго жить» оставшимся—последние не слушаются.

На кох'овской палочке далеко не уедешь.

Каторжане должно быть годятся для компании только ангелам или чертям—поэтому их чаще всего выпускают на «тот свет».

Когда-то было: тюрьма—университет, теперь—клиника.

Лодырей-симулянтов лечить в тюрьме не должно, мнительных-ипохондриков лечить не нужно, серьезно-больных-хроников лечить не возможно, ну, а умирающих лечить не стоит... Вопрос: для чего в тюрьме врач?

Все на свете относительно: 3,31% смертности во всей России считается ненормально высоким; а 8—20% в тюрьмах?

---

[1]) Этот факт действительно имел место, когда выгнанный из Персии шах—в качестве знатного иностранца „посетил" одесскую тюрьму.

[2]) Начальн. смоленской вр.-кат. тюрьмы Гордов, частенько внушал заключенным, что „надзиратели—няньки арестантов." У этих „нянек" все „дети" были „без глазу". *Г. К.*

[3]) Как д-р Е. Р. Эйхгольц, сначала работавший в Смоленской каторжной тюрьме затем в Шлиссельбурге. К сожалению об этом несомненно очень интересном человеке много сделавшем для сохранения здоровья заключенных, никто кроме тов. Вороницына („Из Мрака Каторги"), в своих воспоминаниях не пишет.

[4]) В большинстве случаев из военных врачей. *Г. К.*

* * *

Тюремный режим, карцер, насаждение методами инквизиции «религиозно-нравственных» начал среди политических арестантов—нашли также свое отображение:

— Каждый несет свой крест,—вздохнул начальник, отправляя заключенного в карцер.

— За богом молитва не пропадает,—уверял начальник смоленской каторги, сажая политических в карцер за отказ от «причастия» и посещения церкви.

— Где любовь, там и бог,—сказал начальник и приказал развесить по казематам иконы.

Письмо для заключенного—свидание через стенку.

* * *

Занимающие большое место в жизни заключенного—этапы, конвой, другие тюрьмы нашли свое место среди изречений тетрадки:

Тише едешь—дальше будешь,—здесь, несомненно, об этапе речь.

Никто же больше сея власти не имат, аще воин конвойныя команды.

— Славны бубны за горами,—подумал N, очутившись в централе херсонском.

Хотя «там хорошо, где нас нет», но, да будет благословенно имя аллаха (а в орловский централ—не хочется).

— Ты скоро меня позабудешь, но я не забуду тебя,—пропел N тюрьме при отправлении на поселение.

* * *

Среди особенностей тюремной психологии занимает довольно большое место стремление заключенных к стихотворчеству. По поводу тюремных поэтов мы находим в тетрадке:

На Дону казаков,
— Право ей-же ей—
А в тюрьме поэтов—
Больше, чем людей!

Тюрьма развивает воображение, но убивает соображение; не это-ли причина столь великого множества поэтов-узников?

* * *

Из записей, которые можно отнести к рубрике «разных», содержание коих навеяно заключением, можно указать следующие:

Говорят, тюрьма—монастырь, но разве не вернее обратное: что большинство монахов потенциальные «арестанты»—неоспоримо, но подходят ли арестованные к роли послушников?

Душа моя—решето, задерживающее горе и печаль, но пропускающее радость.

Горе топором ударит, а радость—чуть погладит.

Спешите к счастью: несчастье само поспеет.

Терпением человек победил природу, но оно же держит его в рабстве.

* * *

Нельзя не привести также имеющиеся в тетрадке «подслушанные разговоры и перестукиванье». В них тюремный юмор по отношению к любителям покушать и страстным курильщикам, впавшим в «малахонию»:

Стук:

— Душа болит—на волю просится; особенно по ночам: хоть удавись.

— Не трудись сам—другие удавят. А то, подожди, друг, может в феврале воля ближе станет... [1]).

Разговоры:

— Хоть бы новость какую-нибудь рассказали, право!

— Да чего-же рассказать-то, разве сны...

— Эх, и у нас сны бывают хороши: кабы в самделе: все снятся махорка, табак, мундштуки...

* * *

— Эх, хочется мне все, знаешь, чего-нибудь эдакого, экзотического...

— Чего же, например?

— Ну, там, вяленой трески или голландского сыру...

Ввиду того, что заметки в тюремных тетрадях велись не по воспоминаниям, а под живыми впечатлениями воспринятого, они носят характер достоверности и непосредственности. Мы полагаем, что будущий историк каторги и ссылки не пройдет мимо этого интересного материала, а соберет и использует его.

Г. Кофф.

---

[1]) Это относится к 1913 г., когда усиленно муссировались слухи „о манифесте" по поводу „300-летия дома Романовых".

Группа членов Совета и Народовольцев Киевского отделения об-ва политкаторжан.

(Снимок 1 мая 1924 года).



1. **Л. Берман**; 2. **Франкфурт-Белоусова**; 3. **С. Ушерович**; 4. **М. Голубков**; 5. **М. Генш**; 6. **В. Сухомлин**; 7. **О. Смидович**; 8. **М. Ловцкий**; 9. **К. Берзин**; 10. **И. Славкин**; 11. **М. Миттельман.**

Годовщина Киевского Отделения Всесоюзного О-ва политкаторжан и ссыльно-поселенцев.

Шестого июля прошлого года организовалось Киевское Отделение Общества политических каторжан и ссыльно-поселенцев, поставившие себе целью об'единение бывших узников царских застенков.

Вновь возникшая организация не могла замкнуться в самой себе, ограничиться вопросами взаимопомощи своим членам, она должна была проявить себя и во вне, как общественная организация. Первым шагом на этом пути явились организованные обществом «вечера воспоминаний» о царских застенках.

На этих вечерах широкая местная рабочая аудитория непосредственно от участников воспринимала драматические эпизоды отошедшей в историю повести о политической каторге и ссылке во времена царизма воплощенной в них, злой памяти, системы расправы со своими политическими противниками.

Но политическая каторга и ссылка непосредственно связаны со всей историей революционного движения в России, и, поэтому, вторым шагом отделения явилась попытка внести свой посильный вклад в дело собирания материалов для будущего историка этого движения и, вместе с тем, оставить подростающему/поколению еще несколько десятков страниц, посвященных отошедшей эпохе.

В январе сего года Отделением О-ва был издан первый сборник этих материалов, под заглавием «Каторга и ссылка», и теперь, к годовщине Отделения, преодолев не малые материальные и другие затруднения, Отделение издает настоящий, второй сборник под заглавием: «Из эпохи борьбы с царизмом».

Периодическим выпуском таких сборников Отделение стремится осуществить одну из главных задач О-ва. Успех в этом отношении в большой мере, однако, будет зависеть от того, насколько каждый из товарищей, членов О-ва, проявит активный интерес к делу; *насколько каждый из них будет иметь в виду, что единственным местом, где хранится многое ценное для истории революционного движения, является его собственная память; что с каждым уходящим днем, не извлеченное оттуда и незафиксированное, оно сокращается в об'еме, блекнет в красках; что, более того, уходят годы и сама жизнь, а вместе с нею безвозвратно уйдет все, что хранилось в памяти; что пройдет десять, пятнадцать, двадцать лет, и сойдет со сцены, вычеркнется из жизни целое поколение участников и свидетелей былого.*

И, долг каждого из нас, участников революционной борьбы с самодержавием, не откладывая дела, приобщить свои воспоминания к общей истории титанической борьбы крестьянства и пролетариата за свое освобождение.

К исполнению этого долга мы призываем товарищей.

Наилучшим оправданием существования нашего об'единения будет, если мы каждую из грядущих годовщин его сумеем, подобно нынешней. ознаменовать выпуском сборника наших воспоминаний из эпохи борьбы с царизмом.

С. Ушерович.

Хроника Киевского Отделения Об-ва политкаторжан и ссыльно-поселенцев.

Деятельность Совета Отделения—в цифрах. За годовое существование Отделения Советом было рассмотрено 295 вопросов, распределяющихся следующим образом:

1)	Организационных вопросов	87
2)	По оказанию помощи	35
3)	Хозяйственных	28
4)	Культ.-просветительных	33
5)	Финансовых	33
6)	Историко-литературных	20
7)	Разобрано конфликтов	11
8)	Вопросов содейств. член. Об-ва	40
9)	Вопросов Мопра	8
	Итого	295

Воспоминания о политкаторге. К моменту издания нашего первого сборника (декабрь 1923 г.) мы имели 15 выступлений в рабочих и красноармейских клубах с количеством слушателей до 8.000 человек. За весь отчетный период, за год существования, отделением было устроено около 80 „вечеров воспоминаний" в различных клубах с числом слушателей до 40.000. Летние отпуски и вместе с ними слабая посещаемость клубов на время прекратили спрос на докладчиков. С окончанием лета отделению, несомненно, снова придется проявить активность в деле устройства живых воспоминаний о политкаторге и чтений по истории революционного движения.

Выставка по истории каторги. При клубе Об-ва политкаторжан оборудована небольшая выставка фотографий, иллюстрирующая русскую каторгу различных времен, начиная с каторги декабристов до момента свержения самодержавия. Значительная часть экспонатов представлена в распоряжение Об-ва Е. Н. Вагнер-Дзвонкевич (дочерью народовольца Дзвонкевич), рабочим-печатником т. Савченко и некоторыми членами общества. Выставка охотно посещается рабочими и красноармейцами.

Смерть Ильича и политкаторжане. 22 января, советом были командированы докладчики по клубам и заводам для чтения докладов о 9 января, революции 1905 г. и царской каторге; но в полдень телеграф принес известие о смерти Ильича и доклады в знак траура были отменены. 24 января совет командировал в Москву старосту Киевского Отделения т. С. Ушеровича для возложения венка на гроб Владимира Ильича от политкаторжан Киевщины. 26 января делегаты Московского Об-ва и с мест были назначены в караул при гробе Ильича.

Кроме того, в почетный караул были допущены прибывшие со знаменем для возложения его на гроб делегаты от Московского общества политкаторжан. Надпись на знамени:

„Перед Великим Вождем Революции—три поколения революционеров об-ва политкаторжан склоняют свое знамя".

Московское Об-во в полном составе было допущено к гробу Ильича.

6 февраля 1924 г. Киевское Отделение политкаторжан устроило в своем клубе вечер, посвященный памяти Ильича. После доклада о значении Ленина и его роли в истории международной революции и информации о похоронах—общим собранием была принята следующая резолюция:

„Общее собрание членов Киевского отделения об-ва политкаторжан и ссыльно-поселенцев выражает свою глубокую скорбь по поводу кончины вождя мировой революции—Владимира Ильича Ленина. Бывшие политкаторжане и ссыльные, скорбя о безвременной кончине лучшего ветерана русской ссылки и подполья—борца за раскрепощение трудящихся, уверены, что со смертью вождя мирового пролетариата трудящиеся всех стран и народов еще теснее сомкнут свои ряды вокруг боевого Красного Знамени—Коммунизма. «Быть достойным памяти вождя»—пусть станет впредь лозунгом каждого честного революционера всех поколений, стран и народов".

На этом же общем собрании группа политкаторжан и ссыльных—15 человек подали президиуму собрания коллективное заявление о вступлении в коммунистическую партию.

Всесоюзный с'езд политкаторжан. Первый всесоюзный с'езд политкаторжан собрался в Москве и открылся в день празднования 7-ой годовщины освобождения политических узников из каторги и ссылки (12 марта).

С'езд проходил под знаком об'единения всех оставшихся в живых узников эпохи царизма. На с'езд с'ехались политкаторжане со всех концов СССР. Активное участие в работе с'езда принимали ветераны революции—народовольцы. Принятые с'ездом решения легли в основу дальнейшей деятельности об-ва политкаторжан в области: 1) всестороннего изучения жизни и быта каторги и ссылки в эпоху царизма; 2) распространения материалов по истории политической каторги, и ссылки, истории революционного движения в России, среди широких масс; 3) обеспечения инвалидов каторги и ссылки; 4) активного участия об-ва политкаторжан на местах в организации ячеек Мопра и работе в них и т. д.

На с'езде присутствовали делегаты Москвы, Харькова, Крыма, Одессы, Ленинграда, Киева, Нижнего, Екатеринослава, Ставрополя, Минска, Тифлиса, Читы и Иркутска. Всего участвовало 96 человек. Из них политкаторжан—69 и ссыльных—27 человек. Коммунистов—54, анархистов—4, с.-р.—1 и беспартийных—37 человек. Делегаты политкаторжане в общей сложности отбыли 765 лет каторги.

На с'езде был избран центральный Совет, куда вошли и представители с мест. В члены центрального Совета от Киевского отделения избран т. С. Ушерович и кандидатом т. Л. Берман.

Там-же сконструировалось временное Всеукраинское Бюро политкаторжан с местопребыванием его в Харькове, куда вошли представители всех сорганизовавшихся по Украине отделений. Во всеукраинское бюро от Киевского отделения вошли: т. М. Генш и кандидатом т. Г. Кофф.

Шефство над кавалерийским полком. Полк расположен в казармах, где сто лет тому назад солдаты царской армии, под руководством декабриста Пестеля, подняли знамя борьбы за революцию. Уже Центральным Советом была выделена Комиссия для организации столетнего юбилея декабристов. 10 апр. с. г. в день шестилетия полка Центральный Совет делегировал своих представителей для участия в торжестве. В ознаменование столетия со дня восстания декабристов центральным советом принято идейное шефство над полком, ныне расположенным в Тульчине, в казармах восставших декабристов. Киевское Отделение политкаторжан связалось с подшефной частью, выслав литературу по истории каторги и ссылки. В дальнейшем предположено командировать докладчиков для чтения докладов по истории декабристов, Народной Воли, Каторги и Ссылки.

Памяти Декабристов. В начале 1925 года Советом Киевского отделения политкаторжан предположен к выпуску сборник, посвященный столетию восстания декабристов, к которому и готовится материал.

Ремонт здоровья политкаторжан. Санаторно-курортная Комиссия при Киевском Губпрофсовете и Губсоцстрахе предоставила О-ву политкаторжан в летние санатории 16 мест, куда уже направлены больные на лечение. Кроме того, Укрбюро политкаторжан обещает 2 места в Крым и 2 места на Кавказ для нужд больных политкаторжан.

Перевыборы Совета. 6 июля исполняется год со дня основания Киевского отделения. Согласно Устава, Совет избирается на год, первый постоянный Совет был избран 18-го августа 1923 г., следовательно, выборы нового Совета произойдут 18-го августа 1924 г.

СОСТАВ СОВЕТА И ЕГО КОМИССИЙ.

1. Совет.

1. Ушерович С. С.—староста
2. Голубков М. И.—зам. стар.
3. Берзин К. П.—чл. Совета
4. Лагунов Б. И. „ „
5. Генш М. Г. „ „
6. Кофф Г. М. „ „
7. Славкин И. А. „ „
8. Ланде И. Ю.—казначей
9. Миттельман М. С.—секрет.

2. Ревизионная комиссия.

1. Берман Л. Л.—пред.
2. Капшицер А. Н.
3. Островский К. Э.

3. Финансово-хозяйственная Комиссия.

1. Голубков М. И.—пред.
2. Ушацкий И. И.
3. Блиман М. М.
4. Славкин И. А.
5. Кацура К. Д.
6. Бочарникова
7. Кофф Г. М.
8. Дубровский Я. Я.
9. Гутман П. М.

4. Культурно-просветительная Комиссия.

1. Ушерович С. С.—пред.
2. Ушацкая П. М.
3. Генш М Г.
4. Капшицер А. Н.
5. Таратута, О. И.
6. Островский К. Э.
7. Поляк С А.
8. Франкфурт Е Г.
9. Николаев А. Н.
10. Сакова А. М.

5. Ветеранская Комиссия.

1. Сухомлин В. И.—пред.
2. Берзин К. П.
3. Берман Л. Л.
4. Дриккер Н. В.
5. Кофф Г. М.
6. Таратута О. И.
7. Иващенко Я. П.

6. Историко-литературная Комиссия.

1. Берман Л. Л.
2. Лагунов Б. И.
3. Ушерович С. С.
4. Постышев П. П.
5. Кофф Г. М.
6. Пивоваров П. Ю.
7. Сухомлин В. И.
8. Кацура К. Д.

7. Редакционная Коллегия.

1. Берман Л. Л.
2. Лагунов Б. И.
3. Ушерович С. С.

СПИСОК ЧЛЕНОВ КИЕВСКОГО ОТД. О-ВА ПОЛИТКАТОРЖАН.

№№ по поряд.	Фамилия, имя и отчество.	Адрес:	№№ телеф. Дом.	Служ.
1	Айзенберг, У. Г.	Кузнечная, 10, кв. 24	—	—
2	Бочарникова, С. Л.	Ник.-Ботаническая, 4, кв. 2	—	—
3	Брагинский, И. Г.	Брест-Лит. шоссе, 15, кв. 6	—	—
4	Брагинский, Л. Л.	Предславинская, 4, кв. 2	—	—
5	Берман, Л. Л.	Жилянская, 86, кв. 3	85 упр.	Юза
6	Бодров, А. П.	Кузнечная, 39, кв. 11	—	—
7	Блиман, М. М.	Пушкинская, 19, кв. 12	23—28	16—43
8	Берзин, К. П.	Лютеранская, 33, кв. 4	—	—
9	Вайнер, Л. А.	1-й кожзавод	—	—
10	Вагнер-Дзвонкевич	Москва	—	—
11	Волконский, А. В.	Мих. пер., 10, кв. 5	—	—
12	Голубков, М. И.	Пушкинская, 32, кв. 5	22—60	21—60
13	Генш, М. Г.	Михайловский пер., 17	—	—
14	Голод, М. Н.	Ул. Борохова, 30, кв. 13	—	—
15	Гольдберг, С. Я.	М.-Житом., 30, кв. 24	—	—
16	Гутман, П. М.	Меринговская, № 3, кв. 9	—	—
17	Григорьева, Н. А.	Керосинная, 12, кв. 2	—	—
18	Гриншпун, Я. М.	—	—	—
19	Гордиенко, К. С.	Екатеринослав	—	—
20	Дмитриевский, А. М.	Б.-Подвальная, 16, кв. 4	—	22—34
21	Дубровский, Я. Я.	Пушкинская, 6, кв. 19	11—15	22—41
22	Дриккер, Н. В.	Михайловская, 24, кв. 28	—	—
23	Исуков, В. А.	Протасов яр, 4, кв. 2	—	—
24	Ичковский, Е. И.	Первый дом Советов	—	273
25	Игошин, М. Г.	Фундуклеевская, 74, кв. 12	—	—
26	Иващенко, Я. П.	Нестеровская, 5, кв. 4	—	32—76
27	Кусьмирская, Ф. И.	Дехтеревская, № 9	—	—
28	Козлов-Мироненко	—	—	—
29	Кацнельсон, Л. А.	Михайловская, 17	—	—
30	Котов, К. Е.	Гоголевская, 37, кв. 7	—	—
31	Кацура, К. Д.	Короленко, 46, кв. 4	—	—
32	Кофф, Г. М.	Ул. Пятакова, № 34, кв. 4	23—08	30—18
33	Козель, М. Л.	—	—	—
34	Купченко, О. Ф.	Троицкий пер., 4, кв. 8	—	—
35	Карнач, А. П.	Лютеранская, № 6, кв. 11	—	—
36	Карахан, С. А.	Харьков	—	—
37	Кукобин, А. К.	Таганрог	—	—
38	Капшицер, А. Н.	Левашовская, 30, кв. 9	—	—
39	Лагунов, Б. И.	Пушкинская, 21, кв. 10.	—	11—37
40	Ланде, И. Ю.	Меринговская, 10	—	19—69
41	Ловцкий, М. Г.	Дорогожицкая, 27, кв. 2	—	—
42	Михно, С. Гр.	Солом. Игнатьевская, 38	1—60	—

№№ по поряд.	Имя, отчество и фамилия.	Адрес:	№№ телеф. Дом.	Служ.
43	Марковский, И. Т.	Стар. Свеклосахарн. завод	—	—
44	Мельников, В. И.	Предславинская, 1	—	—
45	Малайдах, Г. Ф.	Село Брага под. губ.	—	—
46	Моспан, С. Е.	Нестеровская, 17, кв. 9	—	—
47	Мякота, И. А.	Белая Церковь	—	—
48	Миттельман, М. С.	Тарасовская, 9, кв. 29	—	6—65
49	Мразовский, А. Ф.	М. Борисполь	—	—
50	Магат, И. М.	Михайловская, 9, кв 9	—	—
51	Николаев, А. Н.	Лютеранская, 33, кв. 5	33—70	16—63
52	Никитчук А. С.	Кузнечная, 83	—	—
53	Островский, К. Э.	Александровская, 45	—	18—42
54	Пивоваров, П. Ю.	Гершуни, 45, кв. 33	—	—
55	Поляк, С. А.	Бибиков. бульвар, 5, кв. 43	—	60—20
46	Петренко, М. С.	Харьков	—	—
57	Постышев, П. П.	1-й дом Советов	Коммут.	д. Совет.
58	Рабинский-Каляев, И. П.	Селянский Будинок	—	—
59	Радиловский, Л. И.	Москва	—	—
60	Смидович, О. Г.	Ботаническая, № 1, кв. 27	—	—
61	Славкин, И. А.	Пушкинская, 35, кв. 9	32—26	—
62	Сухомлин, В. И.	Керосинная, 12, кв. 2	—	—
63	Сакова, А. М.	Короленко, 33, кв. 6	31—(6	—
64	Семени, П. А.	Кузнечная, 120, кв. 12	—	
65	Скульский, А. Н.	Гост. Полония	—	—
66	Сливинский, С. В.	Караваевская, 33, кв. 2	—	18—61
67	Слабовский, А. Г.	—	—	—
68	Тарабан, П. Н.	Гор. Кролевец, Черн. губ.	—	—
69	Темкин, М. М.	Меринговская, 3, кв. 3	—	—
70	Тесленко-Приходько, П. В.	Ул. Толстого, № 7	—	—
71	Тесленко-Приходько, Е. А.	„ „	—	—
72	Таратута, О. И.	Александровская, 45, кв. 28	—	—
73	Ушерович, С. С.	Короленко, 33, кв. 6	31—06	13—83
74	Ушацкая, П. М.	1-ый дом советов	Коммут.	д. Совет.
75	Ушацкий, И. И.	1-ый дом советов	—	—
76	Франкфурт-Белоусова, Е. Г.	Новая, 3, кв. 15	—	—
77	Цукров, С. С.	Нижний вал, 12, кв. 6	2—32	6—65
78	Честнейший, В. М.	Новолыбедская, 11, кв. 2	—	—
79	Шульженко, М. Ф.	Короленко, 22	—	—
80	Шульженко, Н. А.	Короленко, 22	—	—
81	Швайдецкий	Безаковская, 15, кв. 15	—	—

Анкетные сведения о составе членов Киевского О-ва политкаторжан и ссыльно-поселенцев на 1 июля 1924 года.

1. Членов Киевск. О-ва 81 ч.

Каторжан	59 ч.
Ссыльно-поселенцев	22 ч.

2. Мужчин . . . 66 ч.

Женщин **. . . 15 ч.**

3. Национальность:

Русских	15 ч.
Евреев	37 „
Поляков	5 „
Украинцев	18 „
Белоруссов	2 „
Латышей	1 „
Армян	1 „
Не указано	2 „

4. Возраст.

от 25 до 29 лет	2 ч.
„ 30 — 40 „	50 „
„ 41 — 49 „	14 „
„ 50 — 69 „	13 „
„ 70 — 75 „	1 „
„ 76 — 79 „	1 „

5. Образование.

Высшее	8 ч.
Среднее	24 „
Не оконченное среднее	7 „
Экстерн	3 „
Самоучки	2 „
Домашнее	26 „
Начальное	8 „
Нет сведений	3 „

6. Социальное положение.

Рабочих	34 ч.
Крестьян	2 „
Интеллигентов	28 „
Промежуточн. группы	17 „

7. Сословие.

Крестьян	26 ч.
Мещан	42 „
Дворян	8 „
Пот. поч. граждан	5 „

8. Профессия.

Слесарей	4 ч.
Столяров	4 „
Печатников	3 „
Портных	7 „
Переплетчиков	1 „
Педагогов	2 „
Приказчиков	2 „
Машинистов	1 „
Мед-персонал	3 „
Металлистов	2 „
Токарей	2 „
Ткачей	2 „
Часовщиков	1 „
Колбасников	1 „
Кожевников	3 ч.
Бумажников	1 „
Бухг. счет. конт.	6 „
Ботаников	1 „
Библиотекарей	1 „
Чернорабочих	2 „
Хлебопашцев	2 „
Учителей	7 „
Учащихся	1 „
Агрономов	1 „
Артистов	1 „
Журналистов	3 „
Инженеров	1 „
Служащих	8
Профработников	1 „
Не указано	7 „

9. Начало рев. деятельности.

с 1870 до 1872 г.	2 ч.
„ 1878 — 1889 „	9 „
„ 1890 — 1899 „	5 „
„ 1900 — 1904 „	34 „
„ 1905 — 1906 „	25 „
„ 1907 — 1909 „	5 „
„ 1910 — 1915 „	1 „

10. Парт. принадлежн. до 1917 года.

Анархистов	14 ч.
С.-р.	15 „
С.-д. (большевиков)	16 „
С.-д. меньшевиков	4 „
Чернопередельцев	1 „
Бунда	2 „
Максималистов	4 „
Укр. с.-д.	1 „
П. П. С.	2 „
С.-д. Польши и Литвы	2 „
Народовольцев	8 „
Не указано	12 „

11. Годы судимости.

1870 — 1889 г.	4 ч.
1890 — 1896 „	6 „
1900 г.	1 „
1901 „	2 „
1902 „	1 „
1903 „	2 „
1904 „	2 „
1905 „	1 „
1906 „	5 „
1907 „	9 „
1908 „	13 „
1909 „	10 „
1910 „	6 „
1912 „	1 „
1913 „	1 „
1914 „	2 „
1915 „	3 „
Без суда	1 „
Не указано	11 „

12. Место судимости.

Амурская область	1 ч.
Бобруйск	1 „
Воронеж	1 „
Дальн. Восток	3 „
Екатеринослав	4 „
Киев	17 „
Кишинев	2 „
Каменец-Подольск	1 „
Ленинград	7 „
Лодзь	1 „
Лубны	1 „
Москва	3 „
Николаев	2 „
Новочеркасск	1 „
Одесса	9 „
Полтава	1 „
Польша	7 „
Проскуров	1 „
Рига	1 „
Сибирь	3 „
Севастополь	2 „
Харьков	2 „
Хабаровск	1 „
Черкассы	2 „
Якутск	2 „
Без суда	1 „
Нет сведений	4 „

13. Статья судимости.

101 ст.	1 ч.
102 „	34 „
112 „	2 „
126 „	4 „
128 — 132 ст. ст.	2 „
129 ст.	8 „
264 „	1 „
242 „	2 „
279 „	13 „
988 „	1 „
1629 „	1 „
1632 „	1 „
Не указано	11 „

14. Вынесено приговоров.

Смертная казнь	11 ч.
Бессрочная каторга	9 „
Бессрочная ссылка	13 „
Каторга на 20 лет	4 „
„ „ 17 „	1 „
„ „ 15 „	3 „
„ „ 10 „	5 „
„ „ 9 „	1 „
„ „ 8 „	5 „
„ „ 6 „	5 „
„ „ 5 „	2 „
„ „ 4 „	14 „
„ „ 3 „	2 „
Крепость 1 „	2 „
„ 2½ „	3 „
„ 3 „	1 „
Менее года	2 „
Ссылка без суда	1 „
„ 10 лет	1 „
„ 3 года	2 „
Неизвестно	6 „

15. Каторгу отбывали в тюрмах:

Александровский централ	9 ч.
В Акатуе	3 „
„ Алгачах	1 „
„ Владимире	2 „
„ Екатеринославе	2 „
„ Каре	1 „
„ Кавказе	1 „
„ Киеве	2 „
„ Кишиневе	2 „
„ Литве	1 „
„ Москве	5 „
„ Мальцовске	1 „
„ Николаеве	3 „
„ Нерчинске	1 „
„ Одессе	1 „
„ Польше	1 „
„ Радоме	1 „
„ Риге	3 „
„ Смоленске	4 „
„ Херсоне	3 „
„ Шлиссельбурге	5 „
„ Ярославле	3 „
„ Якутске	1 „
Не указано	8 „

16. Пробыли в одиночном заключении.

10 лет	1 ч.
9 „	2 „
8 „	2 „
7 „	2 „
5 „	2 „
4 „	2 „
3 „	5 „
2 „	7 „
1 и $1^1/_2$ года	15 „
Меньше года	18 „

17. Предварительное заключение до суда

4 года	3 ч.
3 „	2 „
2 „	12 „
1 и $1^1/_2$ года	15 „
Меньше года	44 „
Не указано	3 „

18. Кандалы:

Ножные 10 лет	1 ч.
„ 9 „	1 „
„ 8 „	6 „
„ 7 „	1 „
Ножные 6 „	1 ч.
„ 5 „	1 „
„ 4 „	7 „
„ 3 „	7 „
„ 2 „	9 „
„ 1 „	10 „
Меньше года	2 „
Ручные 10 лет	1 „
„ 9 „	1 „
„ 7 „	2 „
„ 5 „	2 „
„ 2 „	2 „
„ 1 „	2 „
Меньше года	6 „

19. Отбыли каторгу.

11 лет	4 ч.
10 „	5 „
9 „	9 „
8 „	7 „
7 „	2 „
6 „	8 „
5 „	4 „
4 „	14 „
3 „	4 „
2 „	2 „

20. Отбыли ссылку.

11 лет	1 ч.
10 „	2 „
9 „	2 „
8 „	1 „
7 „	1 „
6 „	3 „
5 „	9 „
4 „	7 „
3 „	13 „
2 „	6 „
1 „	3 „

21. Сидели в крепости.

6 лет	1 ч.
5 „	1 „
3 „	1 „
1 „	1 „

22. Побеги.

Эмиграция	2 ч.
С каторги	1 „
С ссылки	5 „

23. Перемена убеждений и переход в другие партии.

а) в коммунистическую партию:

Анархо-коммун.	8 ч.
С.-д. (меньш.)	14 „
С.-р.	7 „
Бунд	1 „

б) ныне беспартийных.

С.-р.	6 ч.
Анархо-коммунистов	5 „
Анархо-синдикалистов	1 „
Максималистов	3 „
С.-д. (меньшевиков)	2 „
С.-д. (интернацион.)	3 „
Большевиков	2 „
Народовольцев	2 „
Бунд	1 „
Чернопередельцев	1 „

в) вне партии:

Анархистов	5 ч.
П. П. С.	1 „
Большевиков вне партии	1 „
Народовольцев	2 „
Максималистов	1 „
Нет сведений	12 „

24. Партийная принадлежность в настоящее время.

Р. К. П. и К. П. (б) У.	33 ч.
Беспартийных	26 „
Анархистов	5 „
П. П С.	1 „
Большевиков вне партии	1 „
Народовольцев	2 „
Максималистов	1 „
Нет сведений	12 „

25. Годы тюрьмы, каторги и ссылки:

а) 81 человек пробыли в предварительном заключении до суда 102 г.

б) 4 человека отбыли заключение в крепости 15 л.

в) 59 человек пробыли на каторге 385 л.

г) 22 челов. пробыли в ссылке по суду (без каторги) 113 л.

д) 26 чел. пробыли в ссылке после каторги 96 л.

Всего тюрьмы, каторги и ссылки 711 л.

Главнейшие опечатки.

Стр.	Строка	Напечатано	Следует читать
6	15 снизу	отых	отдых
18	21 „	расселяло	расселяла
18	16 „	Вылюйск	Вилюйск
20	7 сверху	(45 чел.)	(55 чел.)
21	22 „	сорока двух	пятидесяти двух
21	5 „	отверстие	отверстием
21	20 снизу	всхе закупках	всех закупках
32	12 „	42-м	52-м
32	10 „	45	55
38	подпись	(Ласиц)	(Лацис)
47	20 сверху	ведущую	ведущего
67	10 снизу	голово	голову
92	17 „	бышне	башне

Цена 1 р.



СКЛАД ИЗДАНИЯ:
КИЕВ, ул. К. Маркса (Николаевская) № 9.
КИЕВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА
ПОЛИТКАТОРЖАН И ССЫЛЬНО-
ПОСЕЛЕНЦЕВ.

